Жизнь для других

Художественная литература 2026

Жизнь для других

Пугачевец. (Быль XVIII столетия)

I.

На улице бушевала буря; ветер выл и стонал, вздымая снег целым облаком; порою выглядывала луна и опять пряталась за густыми черными тучами; ни одной звездочки не виднелось на небе… Давным-давно погасили уж огоньки в домах маленького городка на Урале, и только в одном здании, на самом конце города, кое-где брезжился свет. Это здание было большое и мрачное, со всех сторон окруженное частоколом, с крепкими дубовыми воротами, запертыми громадным замком. Перед воротами прохаживался взад и вперед человек, в шубе и высокой казацкой шапке, с винтовкою на плече.

Мрачно, угрюмо выглядывало это здание ночью, но так же мрачно глядело оно и днем. Крепко и прочно построенное, на век, что называется, обшитое тесом, с узенькими оконцами, заделанными решетками, оно наводило какой-то суеверный страх на мирных обитателей городка. Порою, в известные часы дня, у ворот этого здания толпился народ: старики и старухи, молодые женщины с грудными детьми на руках. Они топтались на одном месте, подували на посиневшие от стужи руки и с нетерпением ожидали, когда отворят, наконец, ворота… Когда кто-нибудь уж слишком близко подходил к этим воротам, ходивший взад и вперед человек в шубе отгонял его.

— Куда лезешь? — сурово говорил он и опять продолжал ходить взад и вперед, точно маятник.

— Кормилец ты мой, да скоро ли? — говорила отогнанная бабенка, и в голосе ее звучали слезы. — Скоро ли отопрут-то? Вся перемерзла, страсть!..

— Не сдохнешь… — сурово отрезывал человек в шубе и опять ходил и ходил.

Бабенка начинала слегка всхлипывать.

— Тебе кого там? — спрашивал ее часовой.

— Мужа, мужа, кормилец…

— Давно он здесь?

— Да вот уж, никак, другой месяц… И, Бог знает, за что он попал сюда!.. И я-то не знаю, и он не знает…

— Рассказывай! — ухмылялся в бороду часовой. — Так, поди, без вины попал?

— Истинно без вины, кормилец!.. Жили мы тихо, мирно… Я дома все, по хозяйству, известно; он на рыбной ватаге, у Парамона Степаныча, у купца работал… И вдруг пришли это, прикрутили ему руки к лопаткам и посадили сюда… За что, Господь ведает!..

— Да, видно, не за хорошее дело… Ни за что-то ведь не посадят…

Но тут звенел ключ в замке, и ворота широко отворялись, скрипя на заржавевших петлях. Толпа порывисто устремлялась во двор, на улице оставался только один часовой, все ходивший

взад и вперед.

Проходил час: часовой все ходил, слегка пожимаясь и покряхтывая от мороза. Ворота опять отворялись, и народ выходил на улицу. У многих глаза были заплаканы; иные отирали слезы.

А буря разыгрывалась не на шутку. Порывы ветра были так сильны, что все крепкое и прочное здание тюрьмы потрясалось до основания. Снег валил густыми, крупными хлопьями и, наконец, превратился в какую-то сплошную белую пелену, сквозь которую ничего не было видно… Часовой усиленно напрягал зрение, вглядываясь в густой мрак, и все прислушивался, прислушивался… Но ничего не видел он в этом мраке и ничего не слыхал, кроме рева и завываний ветра; разве только порой доносился еще откуда-то резкий, визгливый скрип флюгеров…

В низенькой, тесной, сырой каморке лежал на куче соломы скованный по рукам и ногам человек… Сквозь узенькое окно, заделанное железной решеткой, не пробивалось ни искры света… Это был высокий, ражий детина, лет 30, мощный, широкоплечий, с рыжеватой, растрепанной бородою и голубыми глазами. В лице его не было ничего зверского. Это было простое, мужичье лицо, с резко обрисованными чертами, слегка выдавшимися скулами и широким носом, смуглое, загорелое…

Звякнули кандалы. Арестант протянул руку и стал что-то искать в темноте. Вот, наконец, нашел. Это кружка с водою. Он выпил пять-шесть глотков, опять поставил ее на место, протянулся на соломе во весь рост или, вернее, насколько ему это позволяли цепи, и закрыл глаза…

Буря выла и бушевала на улице, но арестант не обращал на нее никакого внимания, он точно совсем не слыхал ее… Ему не до бури было… Мысли роем толпились в его голове и давили ее, точно тисками… Многое что припомнилось: мало хорошего, худого много… Во-первых, за что он попал сюда, и что его здесь ожидает? За что он попал, — история длинная; а что ожидает, — виселица, что же больше!? И он уж так свыкся с мыслью о смерти, что она нисколько не пугает его.. Он вполне покорился судьбе: что будет, то будет!..

И вот припомнилась ему деревушка его, верстах в двадцати отсюда, деревушка маленькая и бедная, с дымными, курными избами… Только один барский дом с густым, полузапущенным садом бросался в глаза среди этой грязи, бедности, нищеты… Припомнился ему и барин-помещик… Вот, как живой, стоит он пред ним, высокий и сухощавый, с седыми, взъерошенными усами и давно небритой бородой… И арестант тяжело поворачивается на соломе и сжимает кулаки…

Да, много он вынес от этого сурового, злого барина, много вынесла от него и вся деревня… Жадный, скупой, он не знал ни Бога, ни совести. Все ненавидели его, все боялись, точно огня… Господа, и те даже не хотели вести с ним знакомства. Только порой заезжал к нему из соседней усадьбы такой же, как и он, жадный, скупой старик да еще там человек пять-шесть, и только…

И вот у такого-то «аспида» была дочь, которую вся деревня называла своим ангелом-хранителем, благодетельницей, заступницей, за которую вся деревня пошла бы в огонь и в воду… Она помогала им всем, чем могла: хлебом, деньгами (хотя последние у нее редко когда бывали), помогала добрым советом, лечила больных, ласкала и нянчила ребятишек… И много же доставалось ей от отца за эту любовь к голытьбе горемычной, но она все сносила, терпела… Святая девушка!.. Благослови и помилуй ее Господь!.. Жива ли она теперь. Бог знает!.. Тогда, пять лет назад, она не выглядела очень долговечной.

И арестант опять тяжело заворочался на соломе, и перед ним, как живая, предстала эта святая девушка, с тихим и задушевным голосом (он и теперь вот, кажется, словно звучит у него в ушах), с бледным, худым лицом, с румянцем пятнами на щеках и сухим, удушливым кашлем…

«Нет, померла, поди! — думает арестант, — и вдруг чувствует, что у него что-то точно застряло в горле и начинает душить его, а глаза становятся как-то влажнее. — Померла, бедная! Больно плоха была! А померла, так царство небесное, вечный покой пошли ей, Господи!.. Да, не в отца она уродилась, не в барина!.. Ох, этот барин, барин!..»

И арестанту припоминается, как много зла сделал ему этот жадный, скупой старик, как много он ему причинил горя… Но всех больней была одна рана. Она и теперь болит и ноет еще и только тогда перестанет болеть, когда он умрет на виселице…

Да, много горя, печали было в жизни бедного Плескуна (так прозвали еще в деревне нашего арестанта), много было нужды, забот и лишений… Но выпадали в ней и отрадные, и счастливые минутки; но, увы, немного их было, и недолго продолжались они… Помнит Плескун девушку. Он уже давно горячо любил ее. Барин позволил ему жениться. И вот они повенчались. Плескун был счастлив. Жена заставляла его забывать заботы, нужду, нередко стучавшуюся в окно их ветхой, дымной избушки… Дуняша была веселый, живой человек. Она по целым дням пела за прялкой, и ее звонкий, серебристый голос разносился не только по всей избе, а чуть не по всей деревне… И точно камень откатывался от сердца у Плескуна от звуков этого голоса. Он забывал все горе, заботы, и ему становилось легче, отраднее…

И вдруг эту самую Дуню барин отнял у него и продал другому помещику, верст за 400 от их деревни… Плескун чуть с ума не сошел. Злоба, отчаяние вдруг охватили его, и первая мысль, явившаяся у него в голове, это было поджечь барскую усадьбу. Но он вспомнил о дочке барина, об этой доброй, святой девушке, и отогнал от себя эту мысль… Плескун по целым часам валялся в ногах у барина и все умолял, чтоб он продал его туда же, куда и жену. Но барин не согласился: ведь, Плескун был очень хороший плотник.

Исчезли счастье и радость, опять сменились несчастьем и горем, и Плескун, как тень, бродил по своей опустелой хате. В одну неделю он страшно осунулся, похудел, постарел на целый десяток лет и далеко зашвырнул куда-то топор, которым, бывало, он так усердно, старательно тесал доски на барском дворе… Старый барин принял, было крутые меры, но никакие наказания не могли заставить Плескуна приняться опять за работу и на него, наконец, махнули рукой.

Но вот до него дошел. слух, что жена его умерла в горячке. Слух оказался верным, и Плескун опять чуть не сошел с ума. Он сам заболел и едва оправился. Встал он с постели худой, точно скелет, с какими-то дикими, блуждающими глазами… И эти глаза пугали встречающихся прохожих, пугали они даже старого барина.

А жизнь в деревне шла все так же скверно; все так же плакали и жаловались мужики и бабы на обиды и притеснения старого барина.

Но вот вдруг повеяло чем-то новым, еще небывалым… Дошли до их деревушки слухи какие-то, и лица у мужиков прояснились. Точно гора вдруг свалилась с их плеч, и в надежде они вздохнули свободнее…

— Теперь уж недолго терпеть нам! — слышался на деревне шепот. — Скоро и мы заживем, как люди живут… Погоди, барин, не долго тебе над нами орудовать. Скоро тебя позовут к ответу, и поплатишься ты за все…

Плескун, как тень, бродил по своей избе, как тень, бродил по деревне и не обращал на эти слухи, на этот шепот никакого внимания. До них ли было ему!.. Но шепот становился все громче и громче и, наконец, превратился в говор... Старый барин чутко насторожил уши и вдруг страшно испугался...

Но в чем же дело? Что это были за слухи такие, что так взволновали деревню и превратили забитых крестьян в бойких и оживленных говорунов?

А состояли они вот в чем: будто бы государыня Екатерина II неправильно царствует; супруг ее, Петр III, не умер, а жив; под видом его похоронили какого-то офицера, а сам он благополучно спасся, бежал и появился теперь у них на У рале; он собирает народ со всех концов русской земли, составляет большое войско и хочет идти с этим войском на Питер и на Москву, чтоб опять завладеть неправильно отнятым у него престолом и дать народу волю и наделить его землею.

Эти обещания, как искра, брошенная в бочку с порохом, воспламенили крепостных безземельных крестьян...

— Все мы за батюшкой-государем! Все до единого!.. — раздавалось по всем деревням. — -Жив он, кормилец, родной наш, а нам сказали, что помер...

— Опомнитесь! Что вы, с ума сошли!.. — вдруг прерывал их слегка дрожащий, но громкий голос старого барина. Он выходил к народу и старался успокоить его и урезонить: — Какой там батюшка-государь? Откуда вы взяли?.. Вас просто, ведь, обмануть хотят!.. Государь умер. Я сам видел его в гробу и удостоился поцеловать его руку... А тот, кого вам хотят выдать за государя, — просто разбойник и вор! Его зовут Пугачевым, Емелькой, он беглый донской казак...

Но толпа не обращала никакого внимания на слова барина и продолжала галдеть все громче и громче.

— Бунтовщики!.. Злодеи!.. Молчать!.. — возвышал голос барин.

— Ты, барин, попридержи язык-то! — раздавался вдруг из толпы совет. — Не мы бунтовщики, а ты!.. Ты сам говоришь бунтовские речи: говоришь, что батюшка-государь помер, когда он жив-живехонек...

— Он вор и разбойник, а не государь!..

— Ты сам разбойник и вор!.. — грозно раздавалось в толпе. — Грабитель ты, кровопивец!.. Вот погоди ужо, заставит тебя батюшка-государь плясать на веревке!.. Пошел отсюдова, пока цел, а то, ведь, не ровен час, мы и государя не будем ждать, сами с тобой расправимся!..

И барин, еле живой от страха, уходил домой. Он запирал на замки все двери, запирал ставни и всю ночь трясся, как в лихорадке...

И вот один за другим крестьяне стали уходить из деревни к «батюшке-государю». Старый барин рвал и метал, но ничего не мог сделать. Он сам боялся «батюшки-государя» пуще огня... Зловещие слухи распространялись все больше и больше. Поговаривали, что «государь» строго карает «ослушников», что он мирволит всячески голытьбе и вешает сплошь да рядом помещиков.

И барин смотрел, как уходили из его деревни один за другим крестьяне, злился, скрипел зубами, порою рвал на себе волосы, но сделать ничего не мог. Деревня пустела все больше и

больше; оставались дряхлые старики и старухи да ребятишки… Оставался и Плескун. Он не хотел идти за другими в «батюшке-государю», который обещал дать им столько хорошего… Да и куда ему было с волей, без его Дуни? На что земля?..

«Ведь сажень-то земли, чтоб вырыть могилу, дадут мне и тут! — думал Плескун. — Ну, а еще земли мне не надо!»

Однако, по настоянию старухи-матери, свято верившей в самозванца и считавшей его за истинного государя, пошел и он вслед за прочими. Он крепко любил мать и всегда был послушным и покорным сыном.

Шел он долго, проселочными путями, с палкой в руке, с котомкою за плечами, в оборванном кафтанишке, и наконец очутился в лагере «батюшки-государя», предстал пред его «светлые очи»…

На поляне пылали ярко костры; вокруг них суетилась многочисленная толпа. Тут был всевозможный сброд: беглые крепостные, беглые солдаты, казаки, башкиры, киргизы, — все, большею частью, в оборванных кафтанах и зипунах, порою обрызганных кровью… Вооружение было самое разнообразное и далеко не блестящее: у кого виднелась за плечами винтовка или пика, у кого торчал за поясом пистолет, сабля, нож или топор; у большинства же были обыкновенные косы или простые деревянные колья, заостренные и обугленные на конце. Несколько пушек глядели своими мрачными, темными жерлами… Слышалось ржание лошадей, брань, споры, ругань… Пред «государем-батюшкой» не стеснялись, и под самым носом его ругались и по-русски, и по-башкирски, и по-киргизски, а порою задавали друг другу и потасовку.

Пугачев сидел на простом деревянном стуле, возле полотняного шатра. Он был в красном суконном кафтане и высокой казацкой шапке. У пояса его висела. сабля, украшенная позолотой, и два пистолета.

Плескун робко подошел к самозванцу и поклонился в землю.

— Встань, молодец! — послышался ласковый, слегка хриплый голос.

Плескун поднял голову. Пред ним сидел человек среднего роста, широкоплечий и худощавый, с черною с проседью бородою.

«Так вот он, государь-батюшка! — думал Плескун, с любопытством вглядываясь в самозванца. — Государь ли только?.. Вон, говорят, не государь он, а казак беглый, Емелька… Оно, пожалуй, и похоже на правду: лицо-то у него словно бы и не царское, а наше мужичье… Впрочем, как знать? Может, и правда он государь»…

— Ну, что, молодец? — спрашивал Пугачев. — Ко мне пришел, служить хочешь?

— Хочу, государь!

— Добре! Так признаешь меня своим государем?

— Признаю, батюшка.

— Ну, ладно, служи мне верой и правдой, а я уж не забуду тебя своей царской милостью… И он протянул Плескуну жилистую, смуглую руку. Тот приложил к ней губы.

— Из каких будешь? — спрашивал Пугачев.

— Беглый холоп, государь.

— А какого барина?..

Плескун назвал.

— Добрый он или злой?

— Злой, батюшка-государь, куды злой! Другого такого аспида и не сыскать, поди!..

— Ну, так я шкуру с него спущу! — мрачно проговорил Пугачев. — Повешу при первом случае.

Под рукою оказался священник, бледный, дрожащий, захваченный силою в соседнем селе. Он протянул Плескуну крест. Тот набожно перекрестился и приложился к кресту губами. Присяга была принята, и Плескун поступил на службу к «батюшке-государю».

В тот же вечер узнал Плескун от какого-то старика казака, каким образом «государь» воскрес из мертвых. Оказалось, что слухи о его смерти были ложны и что он и не думал никогда умирать… Он убежал в Киев, где и скрывался около года. Потом он пробрался в Константинополь и там тайно участвовал в русском войске, во время войны с турками…

— Да, как простой солдат дрался, батюшка! — с умилением говорил казак. — А никто и не знал, что это он: никому и в голову не приходило признать в нем русского государя…

Потом он пробрался на Дон и вдруг был схвачен изменниками в Царицыне. Но верные казаки освободили его.

— Казаки всегда были верными слугами своему законному государю! — не без гордости заметил казак и покрутил седеющие усы.

Потом попал «батюшка» на Иргиз. В одном городке его снова схватили изменники, и отвезли было в Казань, но там какой-то купец подкупил часового за семьсот рублей, и тот выпустил «государя».

— Так вот, сколько вынес он, батюшка от злых ворогов! — так закончил казак свою повесть. — Вот сколько он вытерпел!.. Смотри же, парень, служи ему верой и правдой, а уж он не забудет и не оставит тебя своими милостями… Как за Богом молитва, так за царем служба не пропадает…

— Да, буду, дядюшка! — с чувством проговорил Плескун. — Буду служить ему верой и правдой… А коль понадобится, то и голову сложу за него…

Плескун поверил всем этим нелепым выдумкам, и ему стало от души жаль «батюшку-государя». Да, в самом деле, сколько он вынес и вытерпел!.. А за что? За то, что хочет он опять завладеть неправильно отнятым у него престолом и дать крестьянскому, православному народу и волю, и землю…

— Буду служить, дядюшка! — опять с чувством повторил Плескун.

— Молодец, молодец, парень! — И старик потрепал его ласково по плечу.

II.

Много тяжелых и безобразных картин доводилось видеть Плескуну на «государевой службе»… Во многих он был только свидетелем, в других сам принимал участие. Но вот раз как-то войска императрицы разбили этот плохо вооруженный сброд. Было много убитых и раненых; многих забрали в плен. Попал в числе этих последних и наш Плескун. Ему надели на руки и на ноги кандалы и крепко заперли вот в этой самой каморке, на куче полугнилой, вонючей соломы… В дальнейшей своей участи он ни капли не сомневался…

«Ну, что ж, и пускай повесят! — думал Плескун. — По крайней мере, скоро увижусь с Дуней…»

Он никогда не переставал думать о ней, даже тогда, когда разорял усадьбы и громил крепости. Она и теперь у него с ума не идет… Ох, Дуня, Дуня!

Плескун тяжело заворочался на соломе… Кандалы звякнули… А на улице все так же стонала и завывала буря…

В коридоре послышались чьи-то шаги. Плескун поднял голову… В маленькое окошко, прорезанное в дверях, пробивался свет… Да, идут, точно… Шаги все ближе и ближе. Ключ зазвенел в замке, дверь повернулась на ржавых петлях, и в каморку вошел старик, с реденькою седою бородкой. В одной руке держал он фонарь, в другой охапку свежей соломы… Старик поставил на пол фонарь и подошел к арестанту. Тот приподнялся и сел.

— Соломку хочу вот переменить тебе. Эта-то уж, чай, подопрела…

— Спасибо, дедушка!.. Да, подопрела больно, смердит…

— Вот то-то и есть! Давно уж я собирался, а все, знаешь, некогда: ведь у меня двадцать пять на руках таких же вот, как и ты… Привстань-ка!..

Плескун встал, звеня кандалами, и выпрямился во весь свой высокий рост. Он был головы на две выше своего сторожа.

Старик начал переменять солому, а Плескун все время присматривался к нему и старался припомнить, где он видал его: как будто лицо знакомое… Да, точно видал, но где и когда, не помнит…

Но вот старик кончил свою работу, захватил связку старой, гнилой соломы, так и кишевшей мокрицами и пауками, и опять взял фонарь.

— Постой-ка, дедушка! — остановил его арестант.

Тот вопросительно взглянул на него.

— Смотрю я, вот, на тебя: лицо, как будто, знакомое… Видел я где-то тебя, но где и когда, не помню…

Старик посмотрел на Плескуна и мотнул головою.

— Да и я, кажись, где-то тебя, молодец, видал… Ты из каких будешь?

Плескун сказал.

Сторож слегка присвистнул беззубым ртом.

— Эге-е!.. — протянул он. — Да мы, брат, земляки, значит: я. ведь, тоже оттудова...

Он припер плотнее дверь, опять поставил на пол фонарь и оперся о притолку, с явным намерением продолжать беседу.

— А ты давно оттудова, дедушка? — спрашивал старика Плескун, усаживаясь на свежей соломе.

— Давно, парень, очень давно: лет двадцать, пожалуй, коли не больше...

— Ну, и выходит, что ты меня еще мальчишкой видал, — мне тридцать первый пошел, — и я тебя видал тоже, да вот припомнить не мог... А звать-то тебя как, дедушка?

— Яковом... Данилычем, по отцу-то...

— Так вот, Яков Данилыч, — говорил Плескун, — земляки, значит...

В этой душной, сырой тюрьме, быть может, уже на пороге гроба ему приятно было встретиться с земляком.

— Ну, потолкуем, дедушка... Мать-то мою, ведь, ты знал, поди, Анну Егоровну?

— Анну Егоровну-то? Господи, Царь Небесный! Да как не знать, молодец! Знал, хорошо знал! — обрадовался старик. — Я свадебничал еще у нее, — вот как! — за дружку был... Так ты ее сын, выходит?

— Сын, дедушка.

Старик с участием посмотрел на него и покачал головою.

— Так вот оно как! — задумчиво говорил он. — А ты за что же попал сюда, молодец, за какие провинности?

Плескун сдвинул брови, на лбу у него появилась складка. Он глубоко вздохнул.

— А попал я сюда не за худое, а за хорошее дело, дедушка! — проговорил он.

Старик взглянул на него недоверчиво.

— Да что-ж ты такое сделал?

— Что сделал? А только и сделал всего, что служил я верную службу законному государю... Сражался я за него, карал изменников... А его, видишь ли ты, не государем считают, а вором, разбойником, беглым казаком каким-то... А, каково, дедушка!!? Ну, а ты сам-то... ты за кого считаешь его? За государя, аль просто за Пугачева Емельку? — И он пытливо взглянул на старика.

Тот на цыпочках подошел к двери и заглянул в полутемный, сырой коридор. Там никого не было. Дымный ночник тускло горел на стене, освещая сырые, потрескавшиеся плиты пола. Старик притворил дверь и вернулся опять к арестанту.

— За государя считаю его, молодец, за истинного, законного государя! — тихо проговорил Данилыч: — Екатерина неправильно царствует...

— Ой ли? — обрадовался Плескун. — Так ты, выходит, наш, дедушка?

Старик кивнул головою.

Наступило молчание. Буря все так же выла и бушевала на улице… Плескун вздохнул.

— Тяжело, дедушка! — проговорил он. — Не будем мы толковать об этом… Да и что толковать-то мне! Моя песня спета. Ведь, все равно, не сегодня — завтра повесят… Не так ли? Повесят, ведь?

Старик с грустью взглянул на него.

— Да, надо полагать, повесят… — прошептал он.

— Ну, и пущай! — чуть не весело говорил Плескун. — Я не боюсь смерти. От нее, ведь, не убежишь, все равно; рано ли, поздно ли, — помирать надобно… Вот только матушку жаль мне больно…

И Плескун тяжело вздохнул.

Старик поднял голову. Он что-то вспомнил.

— Фу, Господи, Боже мой! — с каким-то почти отчаянием заговорил он. — Совсем из ума вон!.. Вчера приезжал там человек один из нашей деревни… Ну, то, се рассказывал… Барин, говорит, заперся у себя в комнате и носа никуда не показывает: боится страшно, все ждет батюшку-государя… Дочка его померла, в прошлом году еще…

— Царство небесное! — набожно перекрестился Плескун. — Да, так и знал я!..

И он смахнул рукавом навернувшиеся на глаза слезы.

— Потом, говорил, Анна Егоровна…

Но тут старик вдруг умолк.

Плескун вздрогнул.

— Ну, что-ж Анна Егоровна?.. Померла тоже?.. — глухо проговорил он, — Ты говори, дедушка!

— Оно не то, чтобы померла, а так… как бы тебе сказать… больно плоха уж… при смерти…

Плескун побледнел и низко понурил голову. Мать умирает, а он здесь, в тюрьме, скованный по рукам и ногам… И не может он с ней проститься, взглянуть на нее в последний раз, принять ее родительское благословение!.. Сердце у Плескуна сжалось, заныло…

— Дедушка! Есть ли у тебя на вороту крест? — с каким-то страстным порывом говорил Плескун. — Веришь ли ты в Господа Бога?

— Да что ты, с ума сошел, что ли, парень!.. Что говоришь!

— Так вот что… вот что, дедушка… Сними ты с меня кандалы эти… — и он звякнул ими, — и отпусти ты меня проститься с матерью… Ради Господа Бога!.. Ради всего святого, дедушка!.. Я только прощусь с нею и опять вернусь сюда… Вернусь завтра к вечеру… Даю тебе в этом честное слово, дедушка… Клянусь тебе всеми святыми!..

Старик с неописанным изумлением, чуть не с ужасом смотрел на него. Теперь он почти был уверен, что арестант «спятил».

— Ты шутишь, парень! — робко пробормотал он.

— Дедушка, да до шуток ли тут… до шуток ли!.. — с отчаянием говорил Плескун.

И вдруг он упал на колени, протянул к старику руки…

— Ради Христа отпусти!.. Отпусти, дедушка! — стонал он. — Честное слово даю тебе… клянусь, что вернусь завтра к вечеру!.. Я не обманщик, дедушка, не душегубец!.. Я никого еще никогда не обманул в жизни!.. Так неужели же я тебя обману? Господи, Боже мой! Да накажи меня Царица Небесная!.. Разве не знаю я, что если я не вернусь, так тебя самого повесят!.. Что-ж, я твою голову в петлю суну? Да, ведь, такого злодейства я и представить себе не могу!.. Дедушка, отпусти!.. Отпусти Христа ради!..

Плескун весь трясся, как в лихорадке; слезы ручьем текли по его щекам.

Нет, он не «спятил», он в своем уме… Он плачет, клянется так… Можно разве ему не верить?.. Но отпустить… отпустить на ночь, проститься с матерью… Нет, старику ничего подобного и во сне не снилось!.. Ему было жаль бедного Плескуна, глубоко жаль… Он, глядя на него, сам чуть не плакал… Но отпустить?..

— Не могу, парень! — почти простонал он. — Что ты, Христос с тобой! Я не о двух головах!.. Да и как я тебя пущу?..

— Как? Да вот как, дедушка… Сперва сними ты с меня кандалы эти… Потом дай ты мне твое платье, шубу там, что ли, я и выйду, будто как ты… А завтра к вечеру я и вернусь! Честное слово, дедушка!..

— Чудак ты! Да как же ты в моей шубе выйдешь? Ведь, я, видишь, какой короткий да сгорбленный, а ты, поди, головы на две выше меня.

— Все это ничего, родимый… Я как-нибудь там, согнусь, сгорблюсь… Только пусти… пусти, дедушка!..

— Нет, нельзя, парень! Старик тяжело вздохнул. — И думать ты не моги об этом!..

Но сердце не камень. Плескун так горько и безутешно плакал, так умолял старика, так клялся, божился, что тот не мог устоять и решился.

— Ну, ладно, я отпущу тебя! — сказал он. — Но только смотри… смотри, парень, не забывай, что у меня восьмеро ребят на руках!

— Да накажи меня Царица Небесная!..

— Постой, погоди немного!

Старик взял фонарь и ушел. Минут через пять он вернулся с каким-то ключом в одной руке и волчьей шубой в другой. Он стал на колени пред арестантом и отомкнул ключом кандалы. Они со звоном упали. Плескун с наслаждением расправил изломанные, наболевшие члены.

— Как хорошо, дедушка! - прошептал он: — точно гора с плеч свалилась!..

И вдруг он припал губами к сухой и костлявой руке старика.

— Благослови тебя Бог, дедушка!.. Благослови тебя Бог!..

— Ну, на, вот шуба, ступай! Ты постучись у ворот, часовой отворит… Спросит тебя: «Куда?» Скажи, что в приказ, мол, смотритель послал с бумагой… Да только, смотри, парень, ты не забудь…

— Дедушка!..

— Ну, ладно, ступай с Богом! Верю! Ну, а назад пойдешь, скажи часовому, что ты к сторожу Якову, назовись племянником…

Страшный порыв ветра чуть не сбил с ног Плескуна, когда тот вышел на улицу. Тьма была — зги не видать! Ветер выл и стонал; снег валил целой тучею… Плескун сгорбился, насколько возможно, и постучал в калитку.

— Кто там? — послышался голос с улицы.

— Сторож Яков Данилов! — прохрипел Плескун, стараясь подделаться под голос старого сторожа.

Ключ зазвенел в замке, и калитка лениво отошла. Полусонный казак пропустил мнимого сторожа, не обратив на него почти никакого внимания.

Плескун был на свободе…

III.

Яков Данилыч остановился, точно окаменелый, среди опустевшей камеры. Возле него на полу лежала связка соломы, стоял фонарь…

— Что я наделал!.. Господи, что я наделал! — бормотал старик. — Ушел… убежал он!!.

И первая мысль, явившаяся у него в голове, это было — поднять тревогу… Ему стоит только крикнуть: «Бежал!» — и вся тюрьма моментально поднимется на ноги, и тотчас же снарядят погоню за беглецом. Его настигнут, — он не мог далеко уйти, — и опять притащат в тюрьму… Ну, а потом что будет?..

— И я его отпустил… дурак, бревно старое! Поверил ему, как малый ребенок… «Вернусь, говорит, завтра к вечеру»… Да, как же, вернется, жди его!.. Что я наделал!.. Господи, что я наделал!

И он ломал свои худые, костлявые руки.

Ответственность, точно, была громадная. Ежеминутно смотритель тюрьмы мог вздумать обойти камеры арестантов. Он их найдет всех на своих местах. Но вот он отворит дверь камеры Плескуна. Она пуста. Где же арестант? Ну, что скажет ему Данилыч? Он скажет, что отпустил арестанта на честное слово до завтра, проститься с его умирающей матерью… Так, что ли? Да это, ведь, курам на смех!.. Кто же поверит ему? А если бы и поверили, так разве он имел право! И что же тогда будет с Данилычем?..

Старика прохватила дрожь; его зубы застучали, как в лихорадке… Ведь, его ждет виселица или, уж по меньшей мере, кнут… Кнут!.. Да разве он его может выдержать? Он умрет под

ударами… Ну, а семья… она что же?

— Да нет, быть не может! — опять ему приходило в голову. — Он не обманет!.. Он так божился, так клялся… плакал… Все это он говорил от души, от сердца… Вернется, как обещал, завтра же к вечеру, и все обойдется благополучно!..

Данилыч задул догоревшую свечу в фонаре, поднялся по какой-то лесенке и очутился в маленьких сенцах. Там отыскал он ощупью дверь и отворил ее.

В крошечной, жарко натопленной, душной комнатке во всех углах раздавался храп, и виднелись белокурые и светлорусые растрепанные головки… Старик посмотрел на них, и у него вдруг сжалось сердце…

— Данилыч, ты? — послышался слабый голос, и с печки выглянуло сморщенное, исхудалое лицо старухи.

— Да, я, Матвевна…

— Что поздно так? Никак, уж вторые петухи пропели… Ужинать-то ты будешь? Щи там в печке стоят, да, поди, простыли.

— Не буду, Матвевна, не хочу я…

— Ну, как знаешь! — И лицо опять скрылось.

Данилыч разделся и лег… Ветер выл и стонал в трубе; снег колотил в окно… Прошел час… два, прошло три… На улице слегка забрезжил рассвет, а старик и не думал спать. Он все ворочался с боку на бок и тяжело вздыхал…

В двенадцать часов дня Данилыч, как и всегда, взял из тюремной кухни мисочку с гороховою похлебкой, толстый ломоть хлеба, ложку и понес все это в камеру Плескуна. Через час он опять вошел в эту камеру и возвратился оттуда уже с пустою миской: он вылил горох на пол и прикрыл соломой, под солому же спрятал и хлеб. Затем запер дверь на замок.

Весь день старик ходил, точно в чаду каком-то. Он натыкался порою на стены и на скамьи, как пьяный, отвечал невпопад на предлагаемые вопросы… Вообще вел себя очень странно…

— Только бы смотрителю не вздумалось заглянуть в камеру! — с тревогою думал он, прохаживаясь взад и вперед по коридору.

А день уж близился к вечеру. Смеркалось. На небе кое-где загорелись звездочки. В коридоре зажгли вонючий, дымный ночник… Плескуна все не было…

— Вернется! — думал старик, — сдержит слово, не сгубит меня и безвинных детушек…

IV.

Плескун вздохнул полной грудью, очутившись на улице, вздохнул с истинным наслаждением… Два месяца, проведенные в сырой и душной тюрьме, совсем изломали его, обессилили…

Порывы ветра чуть не сшибли его с ног; целой тучею валил снег на землю, наметая везде огромнейшие сугробы, через которые, кажется, не было ни прохода, ни проезда… Но Плескуну не было до этого никакого дела… Он чувствовал себя, как рыба в воде, чувствовал, как с этим резким, холодным воздухом вливаются к нему в грудь какие-то новые силы… Он на минуту

забыл все: и мать, умиравшую там, в деревне, и старика Данилыча, и тюрьму, и ожидавшую его участь. Он только наслаждался и наслаждался.

Тьма была — зги не видно! В городке и понятия не имели об уличных фонарях. И вот Плескун шел наугад и то и дело вязнул в глубоких снежных сугробах… Наконец, он вышел из городка, и перед ним открылась небольшая, занесенная снегом полянка… А там, за полянкою, вдали, чернело что-то. Это был лес. И Плескун зашагал к нему… Вот он дошел до опушки, остановился, подумал немного и потом, истово перекрестившись, вступил в самую чащу…

Ветер шумел и гудел между деревьями, раскачивая их покрытые снегом ветви… По лесу стоял скрип, стон какой-то. Плескун стиснул зубы и подвигался все вперед и вперед. Колючие ветви порой задевали его по лицу и больно царапали, но он не обращал на это никакого внимания…

Но вот лес, наконец, кончился, и Плескун вздохнул свободней. Теперь он стоял на берегу узенькой, но, он знал, очень глубокой и быстрой речки. Он помнил, что эта речка была верстах в восьми от их деревушки. В детстве он часто плавал по ней в лодочке, ловил окуней… Значит, двенадцать верст пройдено; оставалось еще восемь… Теперь стоило перейти по льду, выйти на другой берег и идти вдоль него, все прямо и прямо… Там будет крест: могила какого-то умершего на дороге странника. А от креста оставалось до деревни версты три, не больше…

Плескун быстро спустился с берега и пошел по льду. Ему оставалось всего каких-нибудь шагов двадцать. И вдруг он вскрикнул и исчез под водой… Плескун попал в полынью. Он не заметил ее в темноте. Да и при свете ее нельзя было заметить: ее подернуло тонким ледком и занесло снегом…

Через минуту Плескун вынырнул, фыркая, отдуваясь и дрожа от страшного холода. С трудом он выполз на лед, весь мокрый, прошел еще немного и вылез на противоположный берег… Вода ручьями стекала у него с шубы и превращалась в ледяные сосульки. Смерзлись в какие-то ледяные комки и волосы на голове, и густая, растрепанная борода… Плескуна била страшная лихорадка, у него зуб на зуб не попадал… Чтобы немножко согреться, он пустился бегом по берегу…

А, вот и крест, слава Богу! Плескун добежал до него и вдруг остановился, как вкопанный… У него потемнело в глазах, голова закружилась, и он упал на могилу безвестного странника…

Минут через пять он очнулся и огляделся кругом. Один только снег белел перед ним во мраке; ветер кружил и крутил его в воздухе…

— Фу, что это со мной сделалось? — говорил Плескун, проводя рукой по лбу. — Ослабел, видно… Да, ослабел…

Он встал и сильно пошатнулся… Но до деревни оставалось всего три версты. Надежда застать еще мать в живых и получить от нее благословение придала ему силы, и он довольно быстро зашагал вперед, дрожа и трясясь от холода… Этот холод пронизывал его насквозь, доходил до самых костей, кажется, и они у него ныли, болели…

А, вот, наконец, слава Богу! Дорога кончилась, и перед ним мелькнули дымные, занесенные теперь снегом хатки его родной деревушки… Вон и господский дом с запущенным фруктовым садом… А вон и их хатка… В оконце огонек светится…

— Да, мать жива еще, слава Богу!.. Не опоздал я!.. — И Плескун перекрестился.

Дрожащей рукою он отворил дверь и вошел в дымную, закоптелую хату. Тускло, дымясь,

горела лучина и освещала покосившейся на бок стены, земляной пол, пошатнувшийся стол и скамьи… Старый, седой кот дремал, растянувшись у печки… На скамье у окна лежала под ситцевым стеганым одеялом старуха, худая, бледная, с глубоко ввалившимися глазами. Девочка, лет десяти, сидела около больной. При входе нежданного гостя она вскочила и не то с изумлением, не то с испугом уставилась на него.

— Ты что там, Дуня? — спросила тихо больная.

— Да, вон, бабушка, пришел кто-то… Такой… такой страшный!..

Больная с трудом повернула голову и взглянула.

— Кто ты такой?.. Что надо?.. — тоже почти с испугом спросила она.

Плескун слегка пошатнулся и шагнул вперед.

— Матушка! Да ты разве не узнаешь меня?.. — заговорил он. — Разве уж я так изменился, родная?..

И он опустился на колени перед больной, протянул к ней руки, посиневшие теперь от стужи и сильно натертые у кистей кандалами.

Больная вздрогнула и еще более побледнела. И вдруг ее исхудалое, измученное лицо осветилось радостью; в потухших глазах блеснул огонек…

— Андрейко… Андрейко, ты мой!.. Дитятко мое рожденное!.. — шептала она, покрывая поцелуями взъерошенную обледенелую голову Плескуна, а слезы ручьем лились по ее морщинистым и исхудалым щекам и стекали на эту голову…

— Господи, Царь Небесный!.. Да ты ли это… ты ли, Андрейко?.. Откуда ты?..

— Из города, матушка! — отвечал он: — Узнал я, что ты больна, и пришел с тобой повидаться…

— Да в город-то ты как попал? Ты там, ведь, был… у батюшки-государя?

Плескун рассказал, как он попал в тюрьму. Голос его дрожал, прерывался… Мать любовно глядела на сына, и слезы текли по ее щекам…

— Спасибо тебе, Андрейко… спасибо!.. Я знала, что ты добрый, хороший сын!.. Да что с тобою? — Она только теперь заметила в каком состоянии был Плескун. — Ты мокрый весь!..

— Да, вот в полынью попал, матушка, провалился я… Да это все ничего!..

— Как ничего!.. Ведь, ты промок весь, до нитки… Скорей скидывай, платье да надевай мой тулуп!..

Плескун молча повиновался. Он сбросил с себя промокшую насквозь шубу и рубаху и закутался в сухой и теплый тулуп. Но его все-таки пробирала дрожь… Он чувствовал внутри себя какой-то страшный, почти нестерпимый холод. Но он крепился…

— Так как же, сыночек мой? — спрашивала его больная. — Ты убежал из тюрьмы, значит?

— Нет, матушка, не убежал я… Сторож меня отпустил с тобой повидаться… Земляк он наш, из нашей деревни… Я ему честное слово дал, что вернусь завтра к вечеру… Впрочем, сегодня уж,

а не завтра… Светает!

И, точно, в окне слегка брезжил рассвет.

— И ты вернешься, Андрейко? — И она как-то пытливо взглянула вдруг на него.

— Да как же не вернусь, матушка! Ведь, честное слово дал… Не вернусь я, так его повесят!.. А у него восьмеро на руках… Неужели же я его голову в петлю суну!..

— Так… так, сыночек!.. — задумчиво говорила она, и вдруг взглянула на сына с такой любовью, с такой горячей любовью… — Ты должен вернуться… *должен*!.. — Ну, а потом что? — спросила она, и в голосе ее вдруг зазвучала беспокойная нотка.

Плескун поднял глаза.

— Что, матушка?

— Я спрашиваю: ну, а потом что?… Что будет с тобою, Андрейко? а?

Плескун молчал.

— Накажут тебя, ведь? Да?

— Накажут, матушка.

— Как же тебя накажут?

— Повесят!.. — прошептал он.

— Что-о!?. Что ты сказал?..

— Повесят!.. — повторил Плескун.

Смертная бледность вдруг разлилась по лицу больной.

— Но этого быть не может, Андрейко!.. Не может быть!.. — вскричала она. — Ведь, «есть же у них на вороту крест!.. За что же им вешать тебя?..

— За то, что я бунтовал, матушка… Таких, как я, бунтовщиками они называют!.. И горькая усмешка пробежала у него по губам.

— Да, ведь, ты шел за своего государя!..

— Они считают его беглым казаком Емелькой, а не государем, матушка!.. Э, да что толковать об этом!.. — и он махнул вдруг рукой. — Ведь, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Не так ли?.. И я не боюсь смерти!.. Ведь, умру я не за худое дело!.. Я крест целовал ему…

— Да, так… так, сыночек!.. — говорила она, вся бледная, как полотно. — Ты правду говоришь, правду!..

— Не так ли, матушка? Ну, значит, и должен я за него сложить голову и сложу!.. О чем же и толковать тут!.. Вот только благослови ты меня, родимая, и прости, коли я в чем согрубил тебе!..

Она молча обняла его, перекрестила.

— Господь с тобою, сынок!.. Пускай и Он, Творец Всемогущий, благословит тебя так же, как и я вот благословляю!.. Да, двум смертям не бывать, Андрейко, а одной не миновать нам!.. Мне тоже недолго уж остается жить… И скоро, быть может, увидимся мы, Андрейко… увидимся!..

— Увидимся, матушка!.. — прошептал онъи вдруг пошатнулся.

— Что с тобою?

— Да, так, голова закружилась что-то… — и он провел рукой по лбу. — Устал я, родная, да, видно, и простудился маленько, когда в полынье-то выкупался… Давеча меня все в озноб кидало, а теперь точно горит внутри…

— А ты, Андрейко, приляг, усни, легче будет!.. Утро еще теперь… Успеешь вернуться к вечеру…

— Да, я прилягу…

И он, как пласт, повалился в угол, у печки. С ним начинался бред… Очнулся он только в полдень. В оконце, занесенное снегом с улицы, пробивались солнечные лучи… Мать по-прежнему лежала под одеялом на лавке и не сводила с сына своих потухавших глаз. Девочки не было…

Плескун встал, потянулся. Ему было как-будто немного легче: сон подкрепил его. Но голова у него все так же болела, кружилась; в теле чувствовался жар.

— Ну, что, как тебе? — спрашивала больная.

— Легче, матушка.

— Бредил ты все, Андрейко… Уж не горячка ли?

— Должно полагать, что так… Ну, да ладно!.. Пора уж мне, матушка, отправляться, а то не поспею к вечеру…

Он подошел к больной и опустился перед ней на колени.

— Благослови же меня, родимая, еще раз… Обними!..

— Господь да благословит тебя!.. Она долго, долго крестила его… Потом крепко поцеловала. И это был последний, может быть, поцелуй на этом свете… И вдруг она охватила его шею руками и зарыдала… Плескун зарыдал тоже… Через минуту он вырвался из объятий матери и, не оглядываясь, выбежал из избы…

V.

Был тихий морозный вечер, когда Плескун подходил к городку. Он еле-еле передвигал ноги… На улицах еще почти никого не было. Только собаки бегали там и сям и встретили нашего путника неистовым, громким лаем. Но он не обращал на них никакого внимания. Вот и тюрьма… Часовой по обыкновению взад и вперед ходит у ворот. Плескун подошел к нему.

— Кто ты? Чего тебе надо?

— Мне надо туда, дядюшка… Сторожа повидать надо… Данилыча… Ты, может, знаешь его?

— Как не знать, — знаю! Да ты кто такой?

— А буду я, дядюшка, его племянник… Сейчас из деревни пришел только. Да вот простудился что-то в дороге-то… — он пошатнулся. — Горячку, видно, схватил…

Часовой окинул его с головы до ног пристальным взглядом. Но он, должно быть, не нашел ничего подозрительного. Перед ним стоял человек, бледный, усталый и, очевидно, больной. Через минуту ключ зазвенел в замке; калитка отворилась и опять захлопнулась. Плескун был на тюремном дворе… Вот он прошел его… Крыльцо… коридор. . В коридоре тускло горит ночник…

— А, вот и ты, наконец! Слава Богу!.. — бросился вдруг к нему старый Данилыч, бледный и какой-то осунувшийся. — Спасибо, парень, спасибо тебе!.. А я уж думал, ты не вернешься!..

— Как не вернуться, дедушка!.. Да разве я не давал тебе честного слова?.. Разве я…

Но тут Плескун чувствует, что у него темнеет в глазах, голова кружится, и он без чувств падает к ногам перепуганного Данилыча…

Через час Плескун лежал уже на койке в тюремной больнице. Старик доктор, немец, с длинными бакенбардами и золотыми очками на горбатом носу, мельком взглянул на него, пощупал пульс…

— Тиф! — пробормотал он и отошел прочь.

С неделю лежал Плескун между жизнью и смертью. Но крепкая, здоровая натура его справилась с болезнью, и он стал медленно поправляться. Вдруг до него дошел слух, и этот слух так потряс его, и без того сильно потрясенного, что Плескун опять чуть не заболел горячкой… Сосед по койке, такой же пугачевец, как он, сообщил, что «батюшка-государь» схвачен своими же казаками; любимец его, казак Творогов скрутил ему руки, и «батюшку» отвезли в Яицкий городок, где и представили на допрос, уже закованного в колодки…

Плескун был поражен… Бледный, взволнованный в высшей степени, слушал он своего соседа. Он просто ушам не верил…

— Ты лжешь, собака!.. — вдруг закричал он, и глаза у него загорелись. — Не Пугачев он, а истинный, законный наш государь, а ты… ты бунтовщик и изменник!..

Сосед засмеялся.

— А, вот погоди, увидишь скоро, какой государь он!.. И я тоже считал его за государя… А то я бы нешто пошел к нему? Изменил бы я матушке-государыне?.. А, ведь, я крест целовал ей… Да!..

Плескун не верил. Но страшный слух подтвердился вскоре. «Батюшка-государь» оказался, действительно, не государем, а беглым донским казаком Емелькой и не сегодня — завтра его казнят в Москве, вместе с его сподвижниками…

— Так вот кому я служил, за кого я кровь проливал!.. — в отчаянии говорил Плескун и чуть не рвал на себе волосы. — Вора, разбойника за государя принял!.. Ах, матушка, матушка!.. Ты, ведь, это, родная, ошиблась, так и меня только в грех ввела!.. По твоему, ведь, я приказанию

пошел к этому каторжнику… Вот тебе и послужил я ему верою и правдою!.. И что выслужил? Виселицу… смерть позорную!.. О, будь он проклят, анафема!.. Плескун скрежетал зубами в бессильной ярости и до крови кусал себе губы… Теперь уж он не хотел умирать… Нет, жить ему хотелось!..

Наконец, он встал с койки, поправился, и его опять перевели в тюрьму и заковали, а через несколько дней увезли в Москву судить.

Наступил и день суда. Плескун горько плакал, раскаивался… Он говорил, что, как в Бога, верил в этого самозванца, считал его истинным государем, Петром III, и верой и правдой служил ему… Искренность и глубокая задушевность его речей, — он душу свою выложил перед судьями, исповедовался пред ними, как пред священником, — наконец, его горькие слезы, раскаяние, все это было принято во внимание, взвешено и оценено… И Плескун был оправдан. Ему вменили в наказание его тюрьму и отпустили на волю, на все четыре стороны. Сперва он одурел даже. Ему не верилось… Но он, действительно, был свободен и мог идти, куда и когда хотел…

И вот он опять на Урале, опять в том городке, где сидел в тюрьме. Попрощавшись со старым Данилычем, крепко обняв и расцеловав его, отправился он в свою родную деревню… Мать умерла уже. Он был на ее могиле, молился долго и плакал и собственными руками вытесал и поставил на ней сосновый крест… Умер и старый барин, и его схоронили на том же кладбище, но только поставили на его могиле богатый мраморный памятник, с золоченым крестом наверху… Отыскал Плескун, при помощи сторожа, и могилку дочери старика, этой доброй и святой девушки, так горячо любившей несчастную голытьбу, и тоже долго на ней молился и плакал…

Плескун опять взялся за топор и стал плотничать, наживая себе порядочную копейку. Он не женился в другой раз: все еще не мог забыть своей Дуни… Редко когда веселый и разговорчивый, а больше задумчивый и печальный, он работал, не покладая рук, и никогда, ни одним словом не вспоминал о минувших тяжелых временах пугачевщины и о том, как служил он беглому донскому казаку Емельке, всей душой признавая в нем истинного, законного государя…

Изменник. (Быль XVIII столетия)

I.

Крепость Грозная совсем не оправдывала своего названия. В ней не было решительно ничего грозного, даже воинственного. Напротив, она имела самый мирный, деревенский характер. Если б только не вал, окружавший ее, с расставленными на нем четырьмя медными пушками, — она бы походила скорее на деревушку. Посередине ее стояли деревянные казармы, затем немного поодаль виднелось еще несколько домиков, похожих на избы. Здесь жили крепостные офицеры. Их было три.

Старший, штабс-капитан Дюжиков, человек лет за 40, маленький, сухенький, с супругой Глафирою Петровною, особой чуть не вдвое толще его и на целую голову выше. Затем — поручик Чубенко, высокий, широкоплечий хохол, смуглый, черноволосый, тоже с женою и многочисленными детьми. И, наконец, — прапорщик Новодворский, совсем еще розовый и безусый юноша. Немного поодаль от этих трех домиков стоял еще домик, очень чистенький и веселый, окрашенный ярко-зеленою краской, с резными, узорчатыми ставнями. Здесь жил сам комендант крепости, майор Петр Петрович Буйносов, старик лет 50, еще очень бодрый и крепкий, с женою и двумя сынишками. Затем, если прибавить ко всему этому пять-шесть

строений, чисто хозяйственных: сараев, амбаров и кладовых, — то описание крепости будет совершенно закончено.

Грозную окружал довольно высокий вал, а на валу частокол из толстых и заостренных бревен, с проделанными в нем бойницами для орудий. В весеннее и летнее время этот вал представлял очень веселый и красивый вид. Росла здесь довольно густая и высокая травка, а в ней желтели куриная слепота и одуванчики. Ранней весною цвели здесь и ландыши, и фиалки и наполняли всю крепость своим нежным и чудным запахом, а уж особенно когда подует легонький ветерок...

Вал служил местом прогулок для коменданта и других офицеров с их семьями. Часто по вечерам сюда' приносились столы и столики, стулья, скамейки и табуреты, и комендант, в халате, с длинным чубуком в руке, пил чай, в компании подчиненных, по большей части, тоже в халатах и с трубками. Дисциплина здесь соблюдалась не очень строго, и офицеры одевались в полную форму только во время ученья или когда приезжало какое-нибудь начальственное лицо. Но первое бывало не более двух раз в месяц, а второе составляло в Грозной уже событие, выходящее из ряда вон: За последние десять лет только один раз приезжал какой-то генерал, очень вспыльчивый и сердитый. Он нашел кучу разных упущений и беспорядков по службе, накричал, нашумел, перепугал чуть не на смерть солдат и даже всех офицеров, — и, наконец, убрался опять в Петербург, не произведя, впрочем, никаких дисциплинарных взысканий. Долго его потом вспоминали в Грозной, и вспоминали с каким-то трепетом. И затем никто уж более не являлся...

И вот, в летний, ясный и тихий вечер крепостной вал представлял очень живую, веселенькую картинку. Ребятишки, обоих полов и разных возрастов, в белых, красных, синих, желтых рубашках и платьицах, бегали и резвились, мелькая, точно цветы в траве... Дамы оживленно болтали, и, разумеется, все больше о предметах хозяйственных...

А в то время, как дамы рассуждали и сетовали о своих заботах, мужчины тоже вели беседу, не имеющую ничего воинственного. Даже никаких военных выражений не употреблялось... Петр Петрович вспоминал свою жизнь в Саратове, где он служил в таком-то полку и в такой-то роте; штабс-капитан Дюжиков — свою жизнь в Тамбове, Чубенко — «под Киевом»... И говорили все с жаром и увлечением... Вспоминались там разные случаи и приключения на охоте, на рыбной ловле, — но ничего, решительно ничего из военной жизни: точно они и не были никогда военными!.. А, ведь, между тем, Петр Петрович мог бы многое рассказать: он был в делах трех кампаний и имел за них ордена... Мог бы кое-что порассказать и Чубенко, у которого до сих пор еще виднелся на лбу ярко-красный рубец от удара турецкого ятагана...

Итак, беседа мужчин имела тоже чисто мирный характер. Пили чай, курили трубку за трубкой, и говорили, и говорили до тех пор, пока солнце совсем не село и в воздухе не стало довольно сыро и холодно. Тогда вся эта многочисленная компания разошлась по домам, ужинать, а затем — и спать... На валу оставался только один часовой... С ружьем на плече ходил он взад и вперед, полусонными уже глазами поглядывая на расстилавшуюся перед ним степь...

Но часовой не особенно долго исполнял свою обязанность: следить за тем, нет ли чего в степи подозрительного. Оглянувшись зорко по сторонам и заметив, что огоньки в домиках коменданта и других офицеров погасли, он преспокойно уселся в траву, положил возле себя ружье и, прислонившись спиной к пушечному лафету, тотчас же заснул, как убитый...

Громко храпит часовой на крепостном валу; ему отвечает таким же храпом другой часовой у единственных ворот крепости, запертых теперь на ночь громадным крепким замком... И спят себе мирно, похрапывают солдатики, и ничего не боятся они... Да и чего бояться? Набега

башкиров? Но башкиры здесь мирные, и если имеют какие сношения с Грозной, то с чисто торговыми целями. Они пригоняют сюда иной раз баранов, привозят кумыс и овечий сыр, — и все это тотчас же раскупается комендантом и прочими офицерами. Потом опять удаляются в свои кибитки… И нет, очевидно, в них никаких воинственных, хищнических намерений.

II.

Подул легкий, предутренний ветерок; небо на горизонте прояснилось, слегка заалело, и часовой на валу проснулся… Он быстро вскочил на ноги и боязливо оглянулся по сторонам. Но в крепости еще, очевидно, все спали: ни в одном окне не брезжился огонек, ни из одной трубы не виднелось дыма…

Часовой был совсем молодой солдатик, лет 24, не более, среднего роста, широкоплечий, черноволосый, с красивым, немного бледным лицом и добрыми карими глазами. Он был малоросс, родом из Полтавской губернии, и настоящая его фамилия была Семен Гавриленко, но в крепости все звали почему-то Гавриловым, кроме, впрочем, поручика, его земляка, который звал его, как и следует.

Добрый и кроткий, Гаврилов никогда ни с кем не ссорился, не бранился. Два года уж был он на службе в крепости, но никогда ни один солдат не слышал от него грубого слова… И его все любили, начиная с самого коменданта и кончая последним из рядовых. Гаврилов был усерден, старателен и послушен, хотя, порой, и ленив немного, немного неповоротлив. Фронтовую службу он понимал как-то плохо и считался далеко не первым, не образцовым солдатом.

Он очень любил детей и чуть не все свое, свободное от службы, время посвящал им. Но особенно любил он детей коменданта — Васю и Колю. Он находил в них какое-то сходство со своими собственными сынишками, которых оставил там у себя на родине… Те только поменьше были: одному года четыре, а другому три. И Вася и Коля любили тоже Семена. Он очень искусно мастерил им из дерева лодочки, кораблики, с мачтами и парусами, как следует, и они их спускали в большом утлом корыте. Вырезал он им дудки из тростника и учил насвистывать на них разные песни, учил и петь эти песни… И вот, иной раз, в теплый весенний или летний вечер на крепостном валу вдруг раздавались звонкие, серебристые голоса комендантских детей.

В комендантском домике растворялось окно, и в нем показывалась голова майора. Он улыбался.

— Ишь, шельмецы! — говорил старик. — Важно отхватывают!.. Ты слышишь, аль нет, Анюта?

— Как не слыхать, — слышу! — отзывалась из соседней комнаты Анна Григорьевна. — Никак, и Семен тоже поет с ними?

— Поет… Значит, пока все, слава Богу, весел. Надолго ли только, вот… Опять, того и гляди, на него этот черт сядет… Ну, и придется… И Петр Петрович вздыхал и хмурил брови.

И, точно, навсегда оживленного Гаврилова иной раз «черт садился»… Он начинал скучать, тосковать страшно… ходил угрюмый, мрачный, как туча, не отвечал на вопросы товарищей и даже просто не понимал их…

— Ну, началось опять! — говорили солдатики и больше уж не приставали к нему, не обращали на него внимания.

— А что-ж, поприглядеть за ним надо, братцы! — говорил старый, седой унтер Сафонов. — А то

опять улизнет куда-нибудь или напьется!..

— Да, это точно! — соглашались солдатики. — Попригляде́ть надо!..

Но, как ни приглядывали за Гавриловым, он все-таки успевал, уж Бог знает, где и каким образом, «нахлестаться», — порой совсем до бесчувствия, а иной раз пропадал дня на два, на три из крепости и возвращался какой-то бледный, худой, изнуренный…

Майор Петр Петрович был человек очень добрый и ласковый, и его все любили — и солдаты, и офицеры. Но он был строг и взыскателен, как начальник, и, разумеется, Гаврилову не проходили даром его похождения. Сперва майор хотел было действовать на него словесным внушением…

— Так опять забрало? — говорил он. — Скучаешь? Все по жене, по детям?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — уныло отвечал Гаврилов, и на глазах его навертывались вдруг слезы.

— Ну, а пить зачем? А? И где это ты напился? Где водку достал, вражий сын?..

Молчание.

— А где пропадал ты эти три дня? По степи шлялся?

— Так точно…

— Вот то-то и есть: «так точно»!.. Ступай, вражий сын, да смотри, чтоб это было в последний раз!.. А то я, брат, и за розги примусь… Понял?

— Понял, ваше высокоблагородие…

— Пошел вон!

Гаврилов поворачивался налево кругом и уходил. Но завтра он опять напивался. И тогда комендант принимал уже более энергичные меры.

— Ну, что, все ли в крепости благополучно? — спрашивал он являвшегося к нему фельдфебеля.

— Так точно, ваше высокоблагородие, все благополучно!.. Вот только Гаврилов опять…

Майор хмурил брови.

— Пьян? — мрачно говорил он.

— Так точно, ваше высокоблагородие… Как стелька… лыка совсем не вяжет.

— Выпороть!.. Закатить ему, вражьему сыну, пятьдесят розог!..

И Семену «закатывали»… Но и это нисколько не помогало. Аккуратно через каждые два-три месяца на него «черт садился» и сидел, и мучил его с неделю. И опять повторялась та же история: пьянство, отлучка без спросу, а за ними, разумеется, опять порка…

— Ну, что тут с ним делать прикажете? — говорил иной раз чуть не с отчаянием майор: — что делать с ним, вражьим сыном?.. Ну, как вы думаете, поручик?..

Чубенко на минуту задумался.

— Да що… ничего не сробить!.. — отвечал он. — Вин все буде тот же!.. Залить иму опять сала за шкуру… що бильш? — Ион улыбался, но невеселой улыбкою. — Женку он все вспоминает… деток своих, — продолжал поручик уже по-русски, но с сильным малороссийским акцентом. — Ну, и тоскует…

— Да я понимаю это… отлично все понимаю!.. Да, ведь, служба тут, дисциплина-с!.. По воинскому уставу, ни тосковать, ни — уж тем паче, — пьянствовать солдату не полагается!.. Ну, что с ним делать прикажете?.. А парень он славный, хороший!.. Положим, солдат не важный, к фронту совсем не годен, — это вы сами знаете… А так, вообще, — ласковый, добрый такой и услужливый… И детей моих очень любит… Все возится с ними… игрушки им разные мастерит… петь песни учит… — И майор улыбался широкой добродушной улыбкой, но тотчас же опять хмурил брови. — Сперва я немножко косился, знаете, Федор Павлыч, на эту его любовь к моим детям то, — продолжал он. — Все подозрительно мне казалось… Не выслужится ли, думал, хочет он, вражий сын? Не заискивает ли? Ну, а потом, нет, вижу: это он искренно!.. Люблю я его, признаться… А драть-то, все-таки, надо… без порки не обойтись… Дисциплина-с!.. — И майор тяжело вздохнул.

Вздохнул и Чубенко.

III.

Оглянувшись по сторонам и заметив, что в крепости еще никто и не поднимался, Гаврилов опять присел на траву и стал глядеть в степь… Скучна она ему показалась, как-то скучнее даже обыкновенного!.. Что за унылый, что за печальный вид!.. Вон, раньше темные, облака стали светлеть как-будто… Да, все светлей и светлей они, — и вдруг из них брызнул яркий, золотистый луч восходящего солнца. Но и он нисколько не скрасил, не оживил этой дикой, пустынной равнины. Такая же, чуть не вся голая и безжизненная, расстилалась она перед глазами Гаврилова.

И, вот, ему невольно припомнились его степи, — степи родной Украины. Да разве могло быть тут какое-нибудь сравнение!.. Он помнит их превосходно, да и еще бы не помнить!..

И, вот, смотрит, Гаврилов вдаль, и все грустнее и тяжелее становится у него на сердце… Вот, вспоминает он свою родную деревню… Белые хаты с высокими кровлями едва выглядывают из-за зелени вишневых садочков; — они чуть не совсем потонули в ней!.. А вот и его хата, на самом краю деревни… Сидит он в ней, перед открытым оконцем, люлька дымится в его зубах… А тут же, возле, бок-о-бок с ним, его Одарка, стройная, точно тополь, с густой-прегустой косою, чернобровая, черноглазая… Она оперлась слегка рукой на его плечо, — и оба они смотрят в садик и улыбаются… Там, на скамье, под тенью густой, развесистой яблони, сидят их ребятишки, такие же черноглазые и черноволосые, как и мать, и играют какими-то камешками.

И еще больней заныло сердце Гаврилова. Он низко понурил голову и совсем не чувствует, не замечает, как слезы так и катятся, точно горох, из глаз и текут по смуглым, худым щекам.

— Одарка моя… Одарка!.. сыновья мои милые! — шепчет он.

IV.

Комендантша Анна Григорьевна справедливо сетовала, говоря, что их «занесло в трущобу… в места проклятые»… И, действительно, Грозная лежала в дикой, пустынной местности. До

ближайшего уездного городка, ничем, впрочем, не отличавшегося от любой деревни, да и то неважной, было не менее сотни верст, а до губернского города — около ста-пятидесяти. На огромном, необозримом пространстве степи не виднелось ни одной русской деревушки, ни одного поселка. Да и какой же мужик стал бы жить здесь? Чем бы он стал кормиться? Нет ни земли, ни пашни, ни лугов для пастбища; нет ни озер, ни рек.

И жили в степи только одни башкиры, да и те, то и дело, перекочевывали с места на место со своими кибитками и убогим скарбом. Сегодня их видели верстах в десяти от крепости, а завтра они были уж Бог весть где! Сообщения с губернским городом были крайне редки. Да и кто же туда или оттуда поехал бы, за полтораста верст, без особенно крайней надобности?

Всего только раз в два месяца подъезжал к Грозной довольно большой обоз. Здесь был провиант для крепости: мука ржаная и сухари, крупа, солонина и пр. Обоз появляется всегда под прикрытием нескольких вооруженных казаков, на всякий случай, и составлял для обитателей Грозной событие чрезвычайной важности, чуть-чуть не праздник. Все высыпали на встречу дорогим гостям, от мала до велика. Начинались рассказы: как? что? Все ли там живы-здоровы в «губернии»? Нет ли новенького чего-нибудь? и т. д., и т. д. Комендант чуть не в объятиях утаскивал к себе обозного офицера, а комендантша накармливала и напаивала его наславу. Все, что только ни было лучшего в скромном майорском домике, подавалось на стол. И целый день, вплоть до глубокой ночи, в крепости было необыкновенное оживление. Слышались песни, смех, оживленный говор.

А на утро, накормленные и напоенные до-отвалу, гости отправлялись домой. При этом казаки обыкновенно не особенно твердо держались на седлах, да и сам обозный офицер как-то все странно моргал глазами, точно нехорошо выспался. Отправлялись, сопровождаемые всем крепостным населением, с пожеланиями здоровья и всевозможных благ и пр., и пр., И долго еще следили с вала солдатики за удалявшимся пустым обозом, следили до тех пор, пока он не скрывался совсем из виду, и возвращались в казарму какие-то грустные и унылые.

И опять наступала в крепости ее обычная тишина, опять тянулась, день за днем, скучная, однообразная жизнь: завтра, как и сегодня, — сегодня, как и вчера. Вот разве комендант ученье устроит. Прикажет очистить плац, обыкновенно, без зазрения совести заваливаемый всевозможным мусором; выстроит на нем по шеренгам солдатиков, пошумит, покричит на них часа полтора-два, до того покричит, иной раз, что совсем осипнет, и, наконец, прогонит их всех в казарму.

Стояла дождливая, холодная осень. Грозная приняла еще более скучный, унылый вид. Всюду виднелись лужи, огромные, иной раз, как озера, с перекинутыми на 74 них досками; всюду грязь, вязкая, липкая. С сероватого, точно свинцового, неба, порой, целые дни напролет сеял мелкий и частый дождик; дул резкий, холодный ветер. Этот, недавно еще зеленый, пестревший везде цветами, крепостной вал — теперь просто и узнать нельзя было! Трава завяла, поблекла вся, пожелтела; цветов точно и не бывало.

Само собой разумеется, что эти прогулки по нему, эти вечерние беседы и чаепития давным-давно уже прекратились, и только и днем, и ночью бродил по валу один часовой, такой же скучный и мрачный, как и все, его окружающее. Скука, тоска были смертные!.. Майор уныло бродил по комнатам и выкуривал трубку за трубкой. Только одна Анна Григорьевна не скучала: некогда было ей. Она всецело посвящала себя хозяйству и детям: пекла, жарила и варила, шила вновь и починяла старые, износившиеся рубашки Васи и Коли. Скучали и прочие офицеры. Иной раз они собирались по вечерам у майора, и составлялась тогда игра. Она вносила некоторое оживление, но небольшое и ненадолго.

— Однако, что ж, господа, Иван-то Захарыч не едет долго? — говорил как то майор. — Оно уж пора бы, кажется.

— Пора, давно бы пора, Петр Петрович, — соглашался штабс-капитан Дюжиков. — И провиант-то ведь у нас на исходе. Если этак еще денька три-четыре он не приедет, придется, пожалуй, половинную порцию выдавать солдатам.

— Ну, от этого сохрани и помилуй Бог! Приедет, сегодня ночью иль завтра утром приедет! — с полной уверенностью говорил майор. — Дороги-то, ведь, какие, вы поглядите на степь!.. ужас, ужас!.. Поскольку верст в день можно тащиться по такой грязи да еще с кладью? Сегодня будет наверно! — повторял он.

И майор не ошибся. Действительно, в ту же ночь к воротам Грозной подъехал обоз с провиантом и был немедленно впущен в крепость. И офицер, и казаки, насквозь промоченные дождем и забрызганные с головы до ног грязью, имели какой-то жалкий, печальный вид и просто дрожали от холода. Но их, разумеется, тотчас же обсушили и обогрели… Майор разбудил жену, давно уже крепко спавшую. Та вскочила, накинула на себя какой-то капот и тотчас же принялась за хлопоты…

— Ах, сколько я беспокойства вам причинил, майор! — говорил Иван Захарыч, обозный поручик, мужчина лет 35, немного сутуловатый. — Сколько хлопот!.. Вон Анна Григорьевна как суетится!.. мы разбудили вас. Спали уж все давно. Да уж что ж делать, — простите!.. Тут не моя вина. Дорога такая, что и сказать не могу. Ужас, что за дорога! И холод, дождь… Не хлопочите, пожалуйста!.. Вот я обогреюсь только. Перезяб — страсть: зуб на зуб не попадает!.. — И поручик протягивал к ярко топившейся печке дрожащие, совсем окоченелые руки. — Обогреюсь, да и бай-бай… Устал, признаться. Вот разве чайку стаканчик, коли найдется, — а то ничего не надо!.. Не беспокойтесь, пожалуйста!..

— Ну, вот, какое тут беспокойство, — полноте!.. Анна Григорьевна мигом нам все устроит!

И точно, Анна Григорьевна все устроила. Явился самовар, водка, закуска. Пришел, слегка позевывая и потягиваясь, Чубенко, попросту, в теплом халате, подбитом мерлушками, и с люлькой в зубах; за ним — штабс-капитан, в таком же почти костюме; а за штабс-капитаном — и прапорщик Новодворский, но уже не в халате, а в казакине.

Иван Захарович обогрелся, хорошо выпил и закусил, и имел теперь совсем бодрый, веселый вид. Он рассказал несколько интересных новостей…

Но вдруг лицо Ивана Захаровича приняло какое-то серьезное, задумчивое выражение… Он оглянулся по сторонам, подошел к двери и, отворив ее, заглянул в соседнюю комнату. Но там никого не было.

— А не слыхали вы, господа, новость? — вполголоса заговорил он. — Ну, это новость… действительно… — И он крякнул.

— Да откуда же нам слыхать-то, Иван Захарович?.. А что такое? — спросили чуть не все в голос.

— А вот что… Проявился некий дерзкий злодей и бунтовщик, донской казак Пугачев, Емелька, который…

И Иван Захарович стал передавать известные ему слухи о Пугачеве, кое-что, конечно, преувеличивая, а кое-что и уменьшая. Все были поражены и с минуту сидели, точно

окаменелые…

— Да полноте!.. Быть не может! — проговорил, наконец, майор.

— Брешут! — сказал Чубенко. — Брехня одна!..

— Вот в том-то и дело, что нет, господа, а истинная правда…

И Иван Захарович сообщил еще несколько слухов давно уже всем известных, кроме одних только обитателей Грозной, — слухов о производимых Пугачевым злодействах…

— Ах, бисов сын!.. — не выдержал вдруг Чубенко и так хватил по столу своей люлькой, что чуть не разбил ее. — Та попадись он мне только… то я бы залив ему сала за шкуру!.. То я-б ему… — и поручик покраснел весь, как кумач; глаза у него засверкали.

— Да, надо ухо востро держать, Петр Петрович! — говорил гость. — Потому неровен час… И вам подтянуться-то не мешало бы…

— Это нам-то? Да что вы, батенька!.. Да разве пойдет он, вражий сын, в эту глушь, куда и ворон еще никогда костей не занашивал?.. Да что ему делать здесь?

— Все-таки…

— Чего «все-таки»? — А если придет, так я… так я покажу ему, кто такой Петр Петрович Буйносов, комендант крепости Грозной, и, милостью Божией и матушки-императрицы, майор и кавалер трех орденов российских!.. Я покажу ему!.. — И майор даже кулаком по столу стукнул. — Да и мои офицеры тоже покажут, что недаром носят мундир… Они уж не посрамят его!.. Не-е-т уж в этом я так уверен…

— О-о..! — крикнул Чубенко и опять покраснел весь. — Да я… я… майор… — Но он ничего больше не мог сказать от волнения и стал набивать свою люльку.

— А что касается до того, что подтянуться надо, как говорили вы, — продолжал майор, — так это что же… пожалуй, оно не лишнее… Хоть я и думать совсем не хочу, чтоб этот вражий сын заглянул сюда, — а подтянуться… оно почему же… подтянуться можно!..

V.

И майор немедленно стал «подтягиваться»… Назавтра же, чуть только Иван Захарович со своим конвоем уехал из крепости, он позвал фельдфебеля и приказал ему немедленно же очистить плац… Тот посмотрел на него с некоторым удивлением. В последний раз ученье производилось всего неделю тому назад. Он даже хотел было что-то сказать коменданту, но Петр Петрович вдруг как-то грозно нахмурил брови…

— Немедленно! — точно отрезал он. — Чтоб в четверть часа все было чисто… чтоб ни соринки!.. Понял?..

— Так точно, ваше высокоблагородие! — И фельдфебель вышел, повернувшись налево-кругом.

Но очистить плац в четверть часа, да так, чтобы не осталось на нем «ни соринки», оказалось делом совсем невозможным даже для целых двух взводов солдат, которых тотчас же откомандировал фельдфебель с лопатами, метлами и черпаками. Как ни старались, как ни лезли из кожи солдатики, но, все-таки, мало сделали. Положим, что эти разлившиеся по плацу

озерки были почти осушены, но липкая грязь так и осталась на своем месте. Ее не убрать было никакими лопатами!..

И майор произвел ученье. Сегодня кричал и шумел он еще больше обыкновенного. Солдаты вязли в грязи, запинались, — иной раз и падали, и Петр Петрович, наконец, сам согласился, что никакая стройная маршировка по такой грязи немыслима… Тогда он велел бросить ее и взяться за ружья. И началась обычная стрельба в цель и, как всегда, плохая. Только один Гаврилов из каждых четырех-пяти раз попадал три и четыре.

— Молодец! — похвалил его комендант и потрепал по плечу даже. — Выучи ты их стрелять, пожалуйста! А то, ведь, это что за стрельба? Срам один: метят они в ворону… Э-эх!.. — И майор только крякнул.

Затем он тщательно осмотрел у всего гарнизона ружья и тесаки. В первых нашел кое-какие, там, неисправности, а вторые велел отточить немедленно… Солдатики с удивлением поглядывали на него исподтишка. Они, впрочем, уж кое-что слышали от казаков…

— А что, ваше высокоблагородие, осмелюсь я вас спросить… — говорил в тот же вечер фельдфебель. — Правду они говорят, что, будто, Пугач, там, какой-то Емелька…

— Что-о?! — грозно вдруг зарычал майор. — Это кто говорил?

— Казаки болтали, ваше высокоблагородие — еле пролепетал фельдфебель. Он даже чуть не присел от страха.

— А-а… казаки!.. Так слушай, что я тебе скажу, Ерофеев, слушай и заруби у себя на носу, а то я тебе сам зарублю, пожалуй… Чтоб у меня ни один… ты понимаешь, ни один солдат и слова пикнуть не смел!.. Чтоб я и имени не слыхал этого Пугачева!.. Понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие!..

— И если кто хоть слово скажет одно, — отчетливо, чуть не по слогам, продолжал майор: — запорю!.. В землю живым зарою!.. Да, это твоя обязанность, ты не забудь следить за порядком в роте… И если там что-нибудь, — собственной шкурой ответишь… Ну, а теперь пошел вон!..

Прошло несколько дней, но в крепости была все та же прежняя тишина. Майор зорко приглядывался к солдатам, прислушивался, но не увидел и не услышал ничего особенного… Имя «вора и злодея Емельки» ни разу не долетело до его ушей… — А ученья, между тем, производились чуть ли не каждый день, к великому огорчению совершенно к ним непривыкших солдат. Но между ними не замечалось никакого ропота. Нет, как всегда, они послушно и беспрекословно исполняли все, что от них требовали…

Еще раз, тщательно осмотрев ружья и тесаки, майор нашел и те и другие в полной исправности. Затем он приступил к освидетельствованию пушек. Долго и внимательно осматривал он их взглядом опытного артиллериста, и только покачивал головою. Пушки были ужасно плохие и ветхие. Из них стреляли по счету ровно четыре раза в год: в дни именин государыни и наследника-цесаревича, да и то неполным зарядом. В одной из них майор заметил даже какую-то подозрительную трещину и приказал немедленно же залить ее.

«Того и гляди, еще разорвет, пожалуй»! — не без страха думал старик. — «Сохрани, Господи, и помилуй! Народу сколько перебить да перекалечить может»!

Трещину в пушке залили, и майор, скрепя сердце, благословясь, сам произвел из нее пробный.

выстрел. И пушка ничего, — выдержала…

«Ну, ладно, никто, как Бог»! — думал он. — «Выдержит и еще не один раз. Конечно, если только это понадобится… Да вряд ли! Не верится что-то мне»…

— А что, майор, — спросил его как-то Дюжиков. — Неужто нам, в самом деле, придется с ним дело иметь?..

— С этим вором, разбойником, душегубом? Не думаю я, Гаврила Степаныч да и думать-то мне не хочется!.. Ведь, это обидно даже, ей-богу… Ну, посудите сами… Я понимаю, когда приходится драться, кровь свою проливать с неприятелем настоящим, — ну, с турками, там, с татарами… Это другое дело… И они, ведь, тоже присягу, поди, принимали, по своему-то, султану, там, своему иль хану… Тут, все-таки, честный и благородный бой… А вот как придется с этакой мразью поганой… с этим выродком-вором, разбойником… — майор весь покраснел даже. — Придется руки марать… Ну это уж как хотите, Гаврила Степаныч, обидно и больно… Да-с!.. Ну, да никто, как Бог! Авось минует нас эта чаша!..

— Дай, Господи! — проговорил Дюжиков и даже перекрестился.

— А впрочем, надо быть ко всему готовым!..

И майор «подтягивался». Он чуть не совсем замучил солдат ученьем, извел кучу пороху, но добился-таки своего: стрелять стали лучше.

— Вот то-то и есть, вражьи дети, — говорил он и улыбался. — Давно бы за вас надо приняться было… Вот жаль только, пороху извели сколько!.. И сами-то вы его не стоите!.. Ну, да, ладно, ладно… Недурно оно… Спасибо, ребятушки…

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — весело отвечал гарнизон.

Но пока майор ни словом не заикнулся перед солдатами о Пугачеве. Молчали, разумеется, и они. Он только отдал строжайшее приказание, чтоб часовые на валу зорко следили за степью, и чуть-чуть если заметят что-нибудь подозрительное — немедленно же дали бы знать ему лично. Он осмотрел и частокол: достаточно ли в нем прочны бревна, и некоторые велел вбить еще крепче. Осмотрел ворота, замóк. Но он и не думал сообщать гарнилону причин такой необычайной заботливости. Он ждал дальнейших известий. И, вот, наконец, дождался…

Недели так через три после отъезда Ивана Захарыча, в один ненастный осенний день в ворота крепости въехал всадник на страшно усталой, взмыленной лошади, от которой так и валил пар… Пошатываясь, точно пьяный, он прошел прямо к коменданту. Тот сидел в это время у себя в кабинете и просматривал какие-то бумаги…

— Что скажешь, братец? — спросил майор, и сердце у него слегка екнуло.

— К вашему высокоблагородию… бумага! — отвечал казак и полез за пазуху. — От его превосходительства, командира полка… — И он подал майору смятую и отсыревшую бумагу.

Тот прочитал ее и сдвинул брови.

— А, хорошо. Ступай, братец! Пройди там в кухню и скажи, чтоб тебя накормили… Устал, ведь, поди, и проголодался!..

— Благодарим покорно, ваше высокоблагородие!.. Устал, изморился, — страсть как. Ноги

совсем не держат… чуть не три дня и три ночи скакал без отдыху. Так сами его превосходительство приказали… Дело, мол, очень спешное…

— Ну, так ступай, отдохни, поешь!..

— Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! — И казак вышел.

Майор еще раз перечитал бумагу. Она начиналась так: «Поелику в здешних местах появился вор и бунтовщик, Емелька Пугачев, который…» и пр., и пр., и оканчивалась: «того ради, предписываю вашему высокоблагородию…» и т. д., и т. д. — Майор гневно закусил губы и стукнул кулаком по столу.

VI.

Поручик Чубенко только что сел за стол и с большим аппетитом принялся за жирный малороссийский борщ. Прямо против него помещалась жена, еще молодая и довольно красивая женщина, Аграфена Андреевна, или, как он ее называл, Горпина. Затем — тетка поручика, совсем уже дряхлая, полуглухая и полуслепая старуха, и, наконец, семеро ребятишек, обоих полов и разных возрастов. Старшему, Василию, было уже лет 12,. а младшей, Гапочке, или Гапке, — всего три года. Не успел поручик проглотить и трех ложек, как в комнату вошла Дарья, кухарка.

— Вас спрашивают, Федор Павлович, — говорила она. — Миронов…

— А що-ж ему треба? Зови сюда!

Вошел небольшого роста, худощавый солдатик: это был денщик майора, Миронов.

— Здравия желаю, ваше благородие! Хлеб да соль!

— Что скажешь?

— Его высокоблагородие вас просили к себе… Бумага пришла какая-то от генерала.

— А-а!.. — многозначительно протянул поручик. — Скажи, что сейчас приду… А у других был: у Дюжикова, у Новодворского?

— Только от них, ваше благородие…

— Ну, так скажи, что сию минуту…

— Слушаю-с!..

— Да ты это что же, Федя? Разве не будешь обедать-то? — говорила Аграфена Андреевна, видя, что муж поднялся из-за стола.

— После, после, Горпина, — некогда! Слышишь, бумага пришла, там, от генерала… Дайка-ка ты мне мундир!

— Мундир?! — удивилась она. — Да зачем он тебе понадобился? Не на ученье, ведь…

— Все равно — служба… Нельзя!.. Понимаешь, от генерала!.. Давай, давай поскорее, — ждут!

— Ну, ладно, не торопись, — успеешь!.. И пообедать-то человеку не дали… Не убежала бы эта

бумага-то! — ворчала Горпина. — Да и какая может быть, там, бумага? О чем? Ты не знаешь, Федя?

— Да как же мне знать? Не знаю! — Чубенко догадывался в чем дело, но ничего не хотел пока говорить жене.

Минут через пять, он в полной форме, при шпаге, входил в довольно большое, чистенькое и светлое зальце майора. Дюжиков и Новодворский уже были там, и тоже в форме.

— А, вот, и вы, Федор Павлыч! — И майор протянул руку поручику. — Слышали? Новость, признаться сказать, неприятная…

— Да… бумага от генерала… слышал… — пробормотал Чубенко. — Это, значит, насчет того… Гм… А що-ж он пишет?

— А, вот, послушайте! — И майор ясно, отчетливо, не торопясь, прочитал бумагу.

— Ну, что вы скажете, господа? Слухи, как видите, подтвердились… Сам генерал говорит и предписывает…

Все молчали. Дюжиков как-то задумчиво поглаживал свой плохо выбритый подбородок; Новодворский теребил пуговицу у мундира…

— Что скажете вы, Гаврила Степаныч? — обратился майор, по старшинству, к штабс-капитану.

— Да что сказать? Все надлежащие меры уже нами приняты… И вы хорошо сделали, Петр Петрович, что не откладывали в долгий ящик… Грозная укреплена хорошо… Пушки и ружья в исправности… Остается молчать и ждать, и… уповать на Бога…

— Совершенно верно! — подтвердил Чубенко. — Остается молчать и ждать…

— А вы, Новодворский, что скажете?

— То же, что и гг. штабс-капитан и поручик, — и ничего больше! — отвечал юный прапорщик.

— Превосходно!.. Теперь, господа, обсудим такой вопрос… Генерал в своем предписании ни слова не говорит о численности неприятеля… А этот вопрос заслуживает обсуждения… Не правда ли?

— Да, заслуживает! — согласился штабс-капитан. — И даже весьма заслуживает!..

Майор посмотрел на него как-то сбоку и продолжал:

— Быть может, их там и большие шайки… Но, все-таки, это шайки только, — подчеркнул он: — а не войска… Разве у них может быть, там, порядок какой-нибудь, дисциплина? Известно, кто и во что горазд!.. Ведь, это сброд один… бродяги… голытьба разная!.. Затем, какое у них может быть вооружение? И ружей-то, поди, нет порядочных!.. Все топоры, ножи, колья… Понятно, как у разбойников! Ну, а у нас, господа, все славу Богу: у нас солдаты, — положим, и не ахти какие, — но все же дисциплинированные… У нас ружья и артиллерия… Да будь их хоть пять-шесть тысяч, этой бесштанной команды, — мы всех разгромим, как пить дать! — заключил майор. — Ведь, стоит только разик картечью бацнуть из всех четырех орудий, так все они, как горох, рассыплются!

— Н… да!.. — нерешительно как-то проговорил Дюжиков. — А что, если и у них тоже есть

артиллерия?..

— Это у них-то?. — и майор засмеялся даже. — Полноте, Гаврила Степаныч!.. Какая же может быть артиллерия у воров и разбойников?.. Они, поди, никогда ее и не видывали!.. Вы что-то хотите сказать, Федор Павлыч? — обратился он вдруг к Чубенке.

— Да… мне хотелось бы знать: во-первых, как далеко теперь от Грозной пугачевские шайки… Генерал об этом не пишет, кажется?

— Нет.

— А во-вторых, есть ли между ними -сам их атаман… Вот с ним-то мне и хотелось бы иметь дело!.. — и Чубенко сжал кулаки; глаза у него сверкнули. — Хотелось бы мне живьем его захватить, анафему!..

Майор улыбнулся.

— Ну, а на прочий сброд, по-моему, и внимания обращать не стоит! — как-то презрительно говорил поручик. — Вот вы сказали, майор: «картечью»… А по-моему, и картечи-то жаль на них!.. Их просто надо бы… — и он сказал что-то такое, отчего все засмеялись.

— Итак, господа, — продолжал майор: — все мы согласны, что, как бы ни был, там, велик неприятель… тьфу! — с ожесточением плюнул он. — Как бы ни был велик этот паршивый сброд, — мы отбросим его, отшвырнем, как грязь!.. Не так ли?

— Звистно, що так, майор! — подтвердил Чубенко. — Та що воны?.. Голодрабцы!.. мени тилько-б Пугача этого.., отто я-б… — И он опять сжал кулаки.

— А вы что хотите сказать, Гаврила Степаныч? — обратился к Дюжикову майор.

— Да, вот, по поводу ваших слов, Петр Петрович… «Отбросим их… отшвырнем», — говорите вы… Но, позвольте… Ведь, сила солому ломит… Положим, что это сброд… о дисциплине и не слыхали… Но, во-первых, их может быть очень много, а во-вторых, повторяю я, что сказал давеча: у них может быть артиллерия… Тогда нам придется уже считаться с ними по-настоящему… У нас двести пятьдесят человек всего, а их, может быть, пять-шесть тысяч, как вы сами сказали… Силы далеко не равны, майор!..

Чубенко не то с насмешкой, не то с каким-то презрением посмотрел на Дюжикова и только пожал плечами.

— Уж не боитесь ли вы, Гаврила Степаныч? — спросил он.

— Сохрани и помилуй Бог!.. Нет, я вовсе не трус, поручик, и я вам, может быть, еще докажу это… Но, как человек рассудительный…

— А-а!.. Ну, а по-моему — вот!.. — и Чубенко сжал толстый, крепкий кулак, — тут все мое рассуждение!..

Майор слегка усмехнулся.

— Поручик прав! — говорил он. — А вы, Гаврила Степаныч, не во гнев вам будь сказано, хотя офицер и хороший: исправный, аккуратный и исполнительный, но вы… нерешительный человек, Гаврила Степаныч!.. Да-с!.. Вот вы говорите: «Сила солому ломит», и что у нас двести

пятьдесят человек всего, а там, может быть-с!.. Но, опять-таки, повторяю: там сброд, а у нас — солдаты… И этим двухстам пятидесяти нетрудно справиться с пятью и шестью тысячами… Ведь, это ясно как день!.. А что касается артиллерии, — то ее нет у них, да и быть не может-с! — совершенно уверенно заключил майор.

Наступило опять молчание; майор, очевидно, думал о чем-то, и долго, серьезно думал. Ему пришла какая-то мысль.

— Наконец, мы и то допустим, — заговорил он опять. — Хоть это странно, ей-богу, странно, смешно допускать!.. Но, положим… положим, что их, как саранчи… как песчинок на берегу морском, — и, наконец, они нас одолеют… мы не в силах им будем сопротивляться… что-ж тогда делать, штабс-капитан? Сдать крепость?..

— Сохрани и помилуй Господи!.. — и Дюжиков даже перекрестился. — Что вы, майор!.. что говорите вы!.. У меня жена и десять человек детей… Но я принимал присягу… и до последней капли крови…

— Умереть, значит, но не сдавать? — глухо как-то проговорил майор.

— Да! — торжественно подтвердил Дюжиков. — Лучше сто раз умирать, чем…

— Э, полноте, Гаврила Степаныч! — насмешливо перебил Чубенко. — Зачем умирать да еще сто раз!.. Не будем умирать!.. Не хотим мы!.. Я не хочу!.. Нет, мы раскатаем их, да и как еще раскатаем!.. Вот вы увидите… Я с турками дело имел, ну, а с этими голодрабцами… — и Чубенко презрительно усмехнулся и махнул рукой.

Минут через десять поручик был уже дома и с аппетитом ел подогретый борщ.

— Ну, что, Федя? — спросила его жена. — Какая там бумага от генерала?.. В чем дело?..

— Да пустяки, сущие пустяки, Горпина! И говорить не стоит!.. Вишь, появился какой-то разбойник, там, Пугачев, набрал шайку таких же, как и он, сорванцов, и грабит теперь, бесчинствует… Вот генерал и пишет, чтоб, мы, того, значит… остерегались…

— А он ничего, Федя… Он не опасен, Пугачев-то этот? — спросила робко Горпина, и голос у нее дрогнул.

— Это он-то?.. — и Чубенко громко захохотал.

Но не так и не в таком духе говорил Дюжиков своей Глафире Петровне. Осторожный и рассудительный штабс-капитан оказался в данном случае совсем неосторожным и нерассудительным. Он повторил почти слово-в-слово, что говорил майору, и Глафира Петровна пришла в настоящий ужас… Она вдруг заплакала, застонала… Штабс-капитан струсил и битый час успокаивал свою благоверную…

А комендант в тот же день собрал на плац весь гарнизон и обратился к ним с краткою, но убедительною речью. Он говорил, что получил бумагу от генерала и в этой бумаге его превосходительство пишет, что появился в здешних местах вор и разбойник, беглый донской казак, Пугачев, Емелька, — а потому приказывает «ухо держать востро»!..

— Быть может, и не придет еще он сюда, Емелька-то, — говорил майор, — не посмеет!.. А в случае, если там… так вы уж, братцы, не осрамитесь!..

— Рады стараться, ваше высокоблагородие!.. — дружно отвечали солдатики.

— Оно, по правде сказать, и пороху-то жаль тратить на них, на этих, бесштанников! — продолжал майор. — Палками бы их лучше всего разогнать… Да, может, придется, что станешь делать-то!.. Так постарайтесь, ребятушки! — заключил он. — Уж помарайте вы свои руки об эту мразь!..

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — дружно опять ответил весь гарнизон.

И майор вернулся домой, совершенно довольный и успокоенный. Он верил в своих «ребятушек», хотя и считал их плохими фронтовиками. .

VII.

Время близилось к вечеру и начинало уже заметно темнеть; солнце давно закатилось, и на небе кое-где вспыхивали, как огоньки, звездочки… В воздухе было довольно сыро и холодно, но зато совершенно тихо, — не замечалось ни малейшего ветерка… Медленно прохаживался взад и вперед часовой по валу и, время от времени, пристально вглядывался в расстилавшуюся перед ним степь… Но он не замечал там ничего подозрительного…

Ему страшно вдруг захотелось спать… В другое время он преспокойно бы, без стеснения, улегся тут, на сырой траве, у пушечного лафета, и захрапел бы во всю ивановскую… Ну, а теперь нет, — нельзя этого… Того и гляди, явится сам комендант и такую взбучку задаст, что небо с овчинку покажется!.. Да, вон, как третьяго дня Михееву… Заснул на часах солдатик, а майор и шасть, как снег на голову, в четвертом часу утра… Ну, и попало, конечно, да и как попало-то!..

И сон-то его не берет ноньче! — ворчал часовой. — Прежде, бывало, как ляжет это, после ужина, так до шести аль до семи утра и пушкой его не поднимешь!.. А ноне, вон, на, поди: встает чуть ли не с петухами да ночью не раз проснется и обойдет крепость: все ли благополучно!.. Эх, хорошо бы прилечь-то было да всхрапнуть хоть часок-другой!..

И часовой с какой-то завистью поглядывал на пожелтевшую, сырую траву, еще не высохшую от дождя, лившего целый день. Она теперь казалась ему не хуже любого пуховика, и с таким наслаждением растянулся бы он на ней и расправил члены!.. Но солдатик только вздохнул, сердито крякнул и опять стал ходить взад и вперед по валу…

Но, вот, он снова взглянул на степь полусонными, слипавшимися глазами, — и вдруг протер их и стал пристально вглядываться. Темень была изрядная, но все крепостные солдаты обладали отличным зрением. Немудрено, — привычка: им часто приводилось упражнять его… И, вот, часовой стал пристально вглядываться. Ему показалось, что там, далеко где-то, где небо, как будто, чуть-чуть, крошечку посветлее, замечалось какое-то подозрительное движение… И чем он дольше и внимательней всматривался, — тем все более убеждался, что, действительно, что-то есть…

Да… Вот до его слуха донеслись какие-то звуки, что-то похожее на шаги огромной толпы… Но не ошибся ли он? Нет: все ближе, ближе и явственнее… Да, это народ идет, и много что-то народу… Теперь уж. довольно явственно он различал конский топот и скрип колес… Солдатик сразу очнулся, и сон с него как рукой, сняло…

— Ахти, Мать Пресвятая Богородица! — пробормотал он. — Да, ведь, это Пугач, никак!.. Кому больше!.. — Он подошел к столбу, на котором, под треугольным навесом, помещался сигнальный колокол, и сильно дернул веревку… потом еще и еще…

И гулко пронеслись в сыром воздухе эти тревожные звуки… Не прошло и пяти минут, как в темных до той поры окнах казармы показались огни… А вот и народ… солдаты… Они быстро идут, бегут к валу.

Майор часа уже два назад как поужинал, но еще и не думал ложиться спать… Анна Григорьевна — та уж давно храпела, закутавшись с головой в ватное стеганое одеяло. В спальне было что-то холодновато, должно быть, Миронов, как это с ним нередко случалось, плохо вытопил печку… Майор после ужина прошел к себе в кабинетик. Там по стенам висело оружие всевозможных видов и фасонов. Были тут и винтовки охотничьи, были и пистолеты, две сабли, черкесский кинжал с острым клинком, как бритва, и с серебряной ручкой под чернью; было два ятагана… Прежде майор и внимания как-то не обращал на все это оружие, и оно висело себе преспокойно, покрываясь пылью, а отчасти даже и ржавчиной… Но с тех пор, как пришла бумага от генерала, он стал частенько поглядывать на эти сабли и пистолеты, стирал с них пыль, отчищал ржавые пятнышки деревянным маслом…

«А может, и пригодятся, — как знать?..» — думал он.

Вот и сегодня тоже майор осмотрел свой арсенал и остался им очень доволен. Потом, на цыпочках он пробрался в спальню и встал на колени перед киотом… Ярко горела лампадка перед иконою Божией Матери, в серебряной, позолоченной ризе, и огонек ее освещал спальню… Анна Григорьевна продолжала громко храпеть; храпели и Вася с Колей, спавшие на одной кроватке, у самой печки…

— …«Благодатная Мария, Господь с Тобою!..» — шепчет майор, осеняя себя крестным знамением. — «Благословенна Ты в женах…» — И вдруг он разом поднялся на ноги: до него донеслись резкие и отчетливые звуки колокола…

Сердце майора не дрогнуло и продолжало биться все так же ровно, спокойно, как и всегда. Он уж давно поджидал этого и был готов… Бояться, он ни капельки не боялся и был совершенно уверен, что весь этот разноплеменный и, разумеется, прескверно вооруженный, сброд, составлявший пугачевские шайки, нисколько не опасен для крепости, и что достаточно одного заряда картечи, чтоб обратить его в полное бегство…

Через минуту майор был уже на крепостном валу и застал там всех трех офицеров. У Дюжикова была в руках старая зрительная труба, и он разглядывал в нее степь… А там уж, как звездочки, мелькали везде огоньки, приближаясь к Грозной, и совершенно явственно слышались скрип колес, а порой и конское ржание…

— Ну, что, Гаврила Степаныч? — спросил майор. — Это они?..

— Они…

— И много их?..

— Много, майор, очень много!.. Да, вот, посмотрите сами… И артиллерия есть у них… Ведь, я говорил вам тогда, а вы смеялись…

И майор стал смотреть… Действительно, их было много, и очень много… — «А как примерно?..», — подумал он, — и решил, что уж никак не менее трех или даже четырех тысяч… Они остановились в полуверсте от крепости и расположились лагерем… Ярко вспыхнули сторожевые огни… И, вот, при их свете, майор отлично разглядел всю эту шайку. Все это был, точно, сброд, и сброд разноплеменный и разношерстный… Были тут и бежавшие из острогов колодники, что очень ясно показывали клейма на щеках и на лбу; иные — с вырванными

ноздрями… Были и дезертиры, бритые, с не успевшими еще отрасти бородами; были и мужики какие-то, очевидно, бежавшие от господ, холопы. Были казаки Донские и Яицкие; татары, киргизы, башкиры, калмыки… Вооружение оказалось, точно, неважное… Кроме казаков, вооруженных саблями и винтовками, у прочих были, как думал и говорил майор, топоры, ножи, вилы, заостренные и обожженные на конце колья… Но то, что принял штабс-капитан за артиллерию, была одна только единственная пушка, да и то небольшого калибра. Майор улыбнулся даже…

— Ну, с такою-то артиллерией, Таврило Степаныч, не трудно справиться! — насмешливо говорил он. — Всего только одна пушченка, да и из той-то они, поди, стрелять не умеют!.. Ну, а прочее вооружение… Положим, у этих подлецов-казаков ружья, должно быть, хорошие… Да их там не ахти сколько… И у нас не меньше… Да пушки, кроме того… А эти колья да топоры, — они не страшны, Гаврила Степаныч! Не правда ли?

— Д…да… — нерешительно как-то пробормотал Дюжиков. — А что они теперь делают, майор? Никак у костров сидят?.. Не готовятся ли уж к приступу?

— Нет, жрут, кажется… Да, точно, жрут… чтоб вам первым куском подавиться, гадинам! — выругался майор. — Не знаю, вот, что после ужина… Да, верно, дрыхнуть завалятся, — перепьются… А вот, завтра утром… ну, утром надо ждать нападения, всенепременно! — Что-ж, милости просим! — усмехнулся он. — Я их угощу такими орехами, от которых и зубов не останется!..

— А знаете что, майор? — заговорил вдруг Чубенко.

— Что, Федор Павлыч?

— Да думаю я: как улягутся они, голодрабцы, так вылазку хорошо бы сделать… т.-е. не вылазку, а прямо напасть на них да штыками!.. Они, с просонья-то побегут, замечутся, как угорелые… Ну, а там и картечью можно…

— Рано еще, Федор Павлыч, — погодите! Ишь, ведь, вы горячий какой: штыками!.. Нет, это, по-моему неудобно покамест… А вот картечью мы их угостим, точно, да и то, когда они нападать вздумают… Сегодня уж нам придется пободрствовать, господа — не до сна будет! Надо ухо востро держать!.. Ведь, мало ли они, там, черти поганые… Надо меры принять…

И майор принял меры… Он выстроил весь гарнизон, с ружьями, с примкнутыми штыками, поставил у пушек солдат с горящими фитилями, на всякий случай, — а сам с прочими офицерами уселся на мокрую траву на валу и преспокойно закурил трубку… Закурили и прочие… Дюжиков был как-то задумчив и все поглядывал на неприятеля; Чубенко, с люлькой в зубах, тоже косился все на него и думал, что напрасно майор не позволил в штыки ударить: самое бы теперь время!.. Главное, переполох… а там и картечью можно… Поручик тоже долго смотрел в зрительную трубу на лагерь и все приглядывался: нет ли среди этого сброда их атамана. Но такого он не заметил что-то: все были больше оборванцы…

И так всю ночь, до рассвета, гарнизон стоял под ружьем, а комендант и прочие офицеры зорко следили за вражьим станом, глаз не спускали с него. Но там не замечалось пока ничего подозрительного. Все так же горели сторожевые огни, и расхаживали взад и вперед часовые: иной с ружьем на плече, а иной просто с колом, вместо пики…

VIII.

Выглянуло из-за туч солнышко, и пугачевский лагерь зашевелился…

— А, вражьи дети! — говорил майор, с полчаса уж следивший за ним в трубу, — они готовятся… Я так и знал… Вон и коней седлают… садятся…

— Ну, братцы, не выдавать, смотри! — обратился он к гарнизону. — Задать им перцу хорошего!..

— Рады стараться, ваше высокоблагородие… — И солдаты брякнули ружьями.

— Мы, впрочем, картечью их угостим сначала… Эй, ты, Демидов!.. К пушке?.. Что ты, заснул, никак? Вон и фитиль погас… Эх, ворона!..

Задремавший было, пушкарь выпрямился и стал раздувать фитиль.

— Идут, майор, — говорил Дюжиков. — Двинулись!..

— Ну, по местам, ребята, и слушать команду! Скажу: «раз»! — палить из первого… «два»! — из второго. Да, впрочем, они и от первого выстрела все разбегутся… А-а! — крикнул майор. — Милости просим!.. Пожалуйте!..

С каким-то гиком и свистом, неслись на Грозную сотни полторы казаков с обнаженными саблями… За ними бежала толпа оборванцев с кольями, с топорами, тоже галдела, орала что-то… Вот уж они совсем близко, саженях в пятидесяти от крепости..

— Р-раз! — скомандовал комендант.

И пушка грянула… Густой белый дым на минуту заволок степь… Когда он немного рассеялся, казаки неслись обратно, оборачиваясь назад и грозя нагайками и кулаками, — а на земле лежало десятков пять-шесть убитых и раненых…

— Важно, молодец, Демидов! — похвалил майор.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— А-а! Поджали, небойсь, хвосты!.. Ну, что, разве не правду я говорил, Гаврила Степаныч, что они от первого выстрела, как горох, рассыпляются? Так и вышло!.. Вон, как они улепетывают!.. Стали, никак! Да, стали!..

И точно, большая часть пугачевской шайки отодвинулась версты на полторы от крепости; остались только немногие.

— А эти-то что замышляют? — говорил майор. — Тоже, никак, стрелять? — Да… Берегись, ребята! — крикнул он.

Со свистом, пронеслось мимо него пушечное ядро. Послышались крики, стон…

— Ах, подлецы!.. Ах, вражьи дети! — И майор бросился к немного оробевшим солдатам. — Ну, что там, ребятушки? Кто убит? Кто ранен?..

Оказалось убитых трое и раненых пять человек, из них двое очень опасно… Майор чуть не заплакал.

— А коли так… коли так!.. яростно кричал он. — Катай и в них, подлецов!..

Артиллеристы взялись снова за фитили.. Несколько человек наскоро заделывали брешь в

частоколе, произведенную неприятельским выстрелом.

— Цель вернее, Демидов!.. Немножко еще поверни налево!.. Вот так… вот так!.. Р-раз!..

И пушка опять грянула.

— Два!..

Грянула и другая.

— А-а!.. Вот так!.. Хорошо… важно!.. — И майор даже руки потер от удовольствия. — Видите, Федор Павлыч?

— А що?

— Да, ведь, они все удрали!.. Убитых сколько!..

И точно. Там, где недавно было еще несколько сот человек, — стояла одна только брошенная пушка да лежали раненые и убитые, — а прочих и след простыл. Они постыдно бежали и присоединились к другим, которые остановились подальше от крепости.

Но, вот, от вражьего стана вдруг отделился всадник и помчался к Грозной. Над головой он держал что-то белое… Все ближе, ближе… остановился…

— Ка-ак?! Они еще хотят с нами переговариваться?.. — в величайшем негодовании говорил майор и весь покраснел даже. — Парламентер?.. Это от воров и разбойников?.. Да что они ошалели, что ли!.. Постой, вражий сын… Эй, ты, Петряев!.. — обратился он к стоявшему возле него солдату. — Прицельсяка хорошенько в этого подлеца да ссади его!..

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — Петряев вскинул ружье и стал целиться.

— Нет, этого нельзя, майор! — остановил коменданта Дюжиков. — Это не хорошо… не принято… Парламентер, все-таки… и безоружный… Его надо выслушать… Эй, погоди, Петряев!..

Солдат опустил ружье и вопросительно поглядывал то на майора, то на штабс-капитана.

— Выслушать!.. Разбойника… подлеца… вора!.. Да что вы штабс-капитан, в уме ли?.. Да это, ведь, срам… позор!..

— Эй, вы, там, в Грозной!.. Слушай! — заорал зычным голосом парламентер — мы вам даем два часа… И если вы в это время не сдадите крепости, так мы сами возьмем ее и всех вас, как собак, перевешаем! Сейчас к нам придет подкрепление, привезут пушки… Эй, берегитесь, бунтовщики!..

— Катай его, подлеца, Петряев!.. Заткни ему глотку! — крикнул весь красный, точно кумач, майор. Он трясся, дрожал от гнева.

Петряев выстрелил, и казак свалился… Лошадь умчалась в степь.

— Вот так ему, подлецу, и надо!.. Молодец, Петряев! А, вон, какие речи они ведут!.. Поручик, вы слышали?..

Но Чубенко, весь тоже красный, со сверкающими глазами, только рукой махнул.

— Брешут они, мерзавцы! — говорил он. — Не будет у них ни пушек, ни подкрепления… Так, попугать хотят!.. Да и этих мы всех разгоним… Вот погоди!.. — Он сжал громадные кулаки, стиснул зубы. — Эх, если б только в штыки ударить! — пробормотал он.

Прошел час, прошел и другой; майор долго следил за врагами. Но никакого подкрепления, никакой артиллерии к ним не являлось.

— Ну, да, разумеется, попугать хотели! — говорил он. — Да нет, брат, не на таких напали!.. мы тоже не из трусливых!

— Опять, никак, готовятся к приступу? Да, так и есть!.. Иль недовольны еще угощением? Мало им показалось? Ну, что ж, и еще можно… К пушкам, ребятушки!..

Опять, с гиком и свистом, понеслись казаки на Грозную. Но вдруг они на полдороге остановились и… повернули назад.

— Это еще что такое? Иль струсили? — Дайте-ка мне трубу, Гаврила Степаныч…

Майор взглянул, и сердце у него сильно екнуло… Парламентер не соврал. К пугачевцам, действительно, прибыло подкрепление — еще сот пять человек; но что всего хуже — пушки… Он насчитал их с полдюжины. Итого — семь: это, значит, почти вдвое более, чем у них… Дело становилось уже серьезным Майор, признаться, никак этого не ожидал, и смутился. Но он опять быстро оправился и принял прежний бодрый и смелый вид.

— Ребятушки! — вдруг обратился он к гарнизону. — Сейчас, вероятно, будет опять приступ… К ним привезли несколько пушек, и они стрелять станут… Их больше, чем нас, несравненно больше, об этом и толковать нечего, но только им с нами никогда и ни за что не справиться! — резко подчеркнул он. — И вот почему, ребятушки: это — воры, разбойники и душегубы… Они жадны, как волки, но, как волки же, и трусливы… И это раз… Они забыли и Бога, и государыню и это два; а мы их помним и никогда не забудем… мы принимали присягу: клялись до последней капли крови стоять за веру, царя и отечество… И мы эту клятву сдержим!.. Умрем, но не сдадим крепости!.. Так, ведь, детки мои родные?..

— Так точно, ваше высокоблагородие! — отвечал гарнизон, но уже не так дружно и бодро, как давеча. И майор не мог не заметить этого.

— Да что я вам говорю! — продолжал он. — Зачем умирать?.. Кое-кто и умрет, конечно, как умерли вон те трое: Сидоров, Агафонов и Василенко… Царство небесное, вечный покой им! — и майор снял шапку, перекрестился. — Но мы в обиду себя не дадим, ребятушки!.. Опять-таки, повторяю: много их, да трусливы они все, как волки!.. Ну, что-ж, и пускай палят, и мы тоже палить в них будем… Картечью опять, как давеча… Это получше ядер!.. Видели, как они зад показали, бежали, после первого выстрела? Ну, и теперь побегут да и как еще!.. Жив быть не хочу, если мы не разгоним весь этот сброд… этих собак паршивых! — заключил майор, и глаза у него как-то юношески блеснули.

Прошло еще часа три. Пугачевцы стояли все там же, т. е. верстах в полуторах от крепости. Но никакого особенного движения между ними не замечалось, и ничто не показывало, что они готовятся к новому приступу… Под вечер майор отпустил гарнизон в казармы.

— Устали вы все, ребятушки, утомились! — говорил он. — Ступайте да отдохните… Усните часок-другой, запаситесь силами… Да только, смотри у меня, уговор лучше денег: ложиться, не раздеваясь, и спать одним глазом только, а нет так и полуглазом… Поняли?

— Так точно, ваше высокоблагородие!..

Но, отпустив гарнизон, майор расставил везде часовых и строго-на-строго наказал им глаз не спускать с неприятеля, и чуть тот вздумает шевельнуться, немедленно же ударить в колокол… Оставил и прислугу у пушек.

— Идемте-ка и мы, господа! — обратился он к офицерам. — Ко мне пойдем, — закусим да потолкуем… А там отдохнем маленько, коли удастся… Не все же, ведь, на валу торчать… И так мы сутки не спали…: Да, отдохнуть положительно необходимо! А то куда ж мы годиться будем! Идемте!

И все отправились к коменданту.

IX.

Анна Григорьевна крепко спала, когда в крепости раздалась тревога, и не слыхала, как ушел муж. А тот, разумеется, и не думал будить ее… Но, вот, она вдруг проснулась. Петра Петровича не было.

«Чего он так рано сегодня встал?» — подумала комендантша. — «Еще и четырех нет… Опять, верно, с бумагами возится, у себя в кабинете… Ну, и оказия же, ей Богу!.. Жили мирно, спокойно, без всяких особенных, там, забот, — так, по хозяйству разве… В свое время обедали, в свое время спать ложились, вставали!.. И вдруг явился вор какой-то… разбойник, и все изменилось сразу!.. Все как-то вверх дном пошло… Вот наказание Божие».

Но тут она вздрогнула и разом соскочила с постели. Раздался пушечный выстрел.

— Господи… да, ведь, это он, Пугачев!.. Петя! Петя! — закричала она. — Где ты?.. — И, как была, босая, в одной рубашке, побежала в кабинет к мужу. Но Петра Петровича не было. Тогда она пошла в кухню. Старуха-кухарка сидела там за столом и горько плакала.

— Где барин? — спросила Анна Григорьевна.

— Да там… там… на валу, матушка… Ночью еще ушел… Да разве ты не слыхала? тревога-то была, били в колокол?.. Пришел, ведь, он, Анна Григорьевна, этот злодей… антихрист… пришел!.. Пропали наши головушки!.. О, Господи, Царь Небесный! Микола угодник, батюшка!.. Вот, не гадала, не думала… Придется без покаяния помереть, как собаке какой-нибудь!.. О-о!.. — и старуха завыла.

— Да полно ты, дура старая! — рассердилась Анна Григорьевна. — Ну, чего ты так испугалась?.. Ты не слыхала разве, что Петр Петрович-то говорил?.. Нашла тоже, кого бояться: какого-то там колодника!..

— Да… колодника… А посмотрела бы ты, силища-то у него какая!.. Микола угодник, батюшка… Мать Пресвятая Богородица!.. Не сдобровать нам… пропали наши голо-овушки!.. О-о!.. — и старуха опять завыла.

Анна Григорьевна только плюнула… Торопливо накинув на себя платье и надев туфли на босу ногу, она вышла на улицу… Сырой и холодный утренний воздух так и охватил ее всю… Пахло пороховым дымом… И вдруг до нее донеслись какие-то стоны…

— Господи… Да, ведь, никак ранен кто-то!.. — и она побежала дальше, не обращая внимания на страшную грязь и лужи… До них ли уж было ей!.. А, вот и муж… Слава Богу, он жив, здоров!..

Стоит, нагнувшись над кем-то…

— Петя! — крикнула Анна Григорьевна.

Он обернулся.

— Зачем ты пришла, Анюта? Тебе здесь совсем не место! — сердито говорил он и сдвинул брови. — Ступайка-ка, ступай домой…

— Да скажи ты мне, ради Христа, Петя…

— Нечего сказывать… Все ничего… все, славу Богу!.. Ну, кой-кого ранили и убили… Нельзя без этого… Да, вот, погоди… мы тоже сейчас ответим… Я покажу им!.. — Ступай же, ступай, Анюта!.. Ты только мешаешь здесь. Ступай и ничего не бойся, ни о чем не думай: жив и здоров буду… вернусь к обеду… Прощай, покамест!.. — и майор побежал на вал.

Но Анна Григорьевна не пошла домой, нет… она стояла чуть не по колени в грязи и, со страшно бьющимся сердцем, ждала, что дальше будет…

— Раз!.. — скомандовал Петр Петрович.

И пушка грянула.

— Два!..

Грянула и другая… Густой белый дым, отнесенный ветром, точно туманом, заволок всю крепость, и все вдруг пропало, исчезло в нем…

— Ага!.. Вот так!.. хорошо… важно! — послышался в этом дыму веселый голос Петра Петровича. — Да все, ведь, они удрали!.. Убитых сколько!..

— Удрали!.. Ну, слава Богу!.. — Анна Григорьевна перекрестилась и торопливо пошла домой, в полной уверенности, что все кончилось благополучно, и что этот вор и разбойник прогнан…

Она вернулась босая, туфли остались где-то в грязи, и вся перепачканная… И первое, что она увидела, — это Глафира Петровна и Аграфена Андреевна. Они встретили ее в зале…

Горпина была совершенно спокойна. Она, как в Бога, верила в своего мужа, а тот, ночью еще, когда раздалась тревога, честью ее уверял, что опасного ничего нет, да и быть ничего не может; что он скоро вернется целый и невредимый, вот только прогонят они «этих собак паршивых…» Но Глафира Петровна была сильно встревожена, и ее полная грудь тяжело вздымалась… Положим, и ее муж успокаивал и утешал тоже, и говорил, что ничего нет опасного, но говорил это таким тоном, что скорее еще больше перепугал ее, чем успокоил… Она так и бросилась к Анне Григорьевне.

— Ну, что там?.. Ну, что? говорите!.. — задыхаясь, говорила она.

— Да все, славу Богу!.. Прогнали!..

— Прогнали! Полноте?

— Сама своими ушами слышала, как Петр Петрович закричал, после выстрела: «а, ведь, они все удрали!.. убитых сколько!..»

— Ну, слава Богу… ну, слава Богу!.. — и у Глафиры Петровны точно камень отвалился от сердца. — А кто же это палил, Анна Григорьевна?..

— Да сперва этот разбойник выпалил… и убил кого-то… Кажется, трех солдатиков… Не разглядела я хорошенько, — не до того было!.. И ранил…

— Кого? кого ранил?..

— Да тоже солдатиков… Ну, а потом и у нас палили… два раза… Разбойник и побежал, навострил лыжи!.. Вот так и вышло, как говорил Петр Петрович!.. О, он у меня понимает дело!.. — не без гордости прибавила Анна Григорьевна.

— И Федя мне говорил то же самое… — поддержала Горпина.

Посидев еще минут пять, дамы пошли домой поджидать мужей.

— И как это все скоро и хорошо кончилось! — говорила, на прощанье, штабс-капитанша. — Я даже не ожидала, право!.. — и она весело улыбнулась.

Но Петр Петрович не вернулся к обеду, как обещал, и Анна Григорьевна послала к нему Миронова.

— Скажи, что я жду его, — говорила она. — Да чтоб поскорее шел, а то щи простынут!..

Миронов скоро вернулся и объявил, что «его высокоблагородие обедать не будут»…

— Как так? — удивилась Анна Григорьевна. — Почему это?.. Опять служба какая-нибудь?.. — Ох, уж мне эта служба!..

Но оказалось, что «разбойник и вор» не ушел еще, а отступил только, а потому «его высокоблагородие не могут пока отлучиться с вала: они за ним наблюдать будут»…

— Да что ты там врешь, Миронов?.. Как, не ушел?.. — Я сама слышала, как Петр Петрович закричал, что они все удрали!..

— Не могу знать, Анна Григорьевна!.. А только его высокоблагородие сами сказать изволили…

И Анна Григорьевна призадумалась… Полезли ей разные мысли в голову, и опять тревожно заныло у нее в груди сердце… Но она тотчас решила, что Петр Петрович свое дело знает, и если сказал он что, значит, тому и быть!.. — и успокоилась.

Стало уже смеркаться, а Петра Петровича все не было…

— Господи!.. Да, ведь, он с голоду там умрет! — чуть не с отчаянием говорила Анна Григорьевна и послала мужу целый обед. Но Миронов принес его обратно не тронутым.

— Это что значит? — удивилась она.

— Не могу знать…

Майор вернулся домой, когда уже почти совсем стемнело, усталый, измученный и голодный. За ним шли Дюжиков и Чубенко, а за теми — их жены. Они их на дороге встретили. Новодворский не воспользовался предложением майора и ушел к себе.

— Да что ты, в уме ли, Петя? — встретила мужа Анна Григорьевна. — Бога ты не боишься, право!.. Ведь, до какой поры ты голодал все!..

— Не до еды нам, Анюта, было!.. Да и не я один голодал, — все мы: и Федор Павлыч, и Гаврила Степаныч, и Новодворский, и все наши солдатики… Ну, а теперь, вот, можно!.. Давай скорей водки нам, закусить!..

— Чего еще — закусить!.. У меня, чай, и обед есть, готовила… — и Анна Григорьевна, с помощью старухи-кухарки, принялась накрывать на стол. Не прошло и пяти минут, как все уже с аппетитом принялись за щи.

— Скажи ты мне, ради Бога, Петя! — говорила Анна Григорьевна: — соврал, там, что ли, Миронов… Он вечно все переврет!..

— А что такое?

— Да он говорил, что Пучач-то не удрал вовсе, а отступил только подальше от крепости… Ведь, он этак и опять, пожалуй, на нас нападать будет?.. — Покоя не даст… ни поесть, ни выспаться!.. Правда это?..

Майор слегка крякнул и искоса взглянул на Чубенко. Тот тоже крякнул. Они условились ничего не говорить женам о подкреплении неприятеля, о том, что он не только что не разбит, а стал и еще сильнее…

— Да, это правда, Анюта, — отвечал майор. — Они пока еще не совсем ушли… Но только мы их, не сегодня — завтра, прогоним!.. Вот ты увидишь!..

— Да, постарайтесь уж вы!.. А то, ведь, это что же такое: ни поесть вовремя, ни уснуть… Ведь, этак ты вовсе измучишься, изведешься!.. Да и других-то ты изведешь: и офицеров всех и солдат!..

— Что ж делать Анюта, — служба… — начал было майор, и вдруг поперхнулся точно. — Тебе что надо? — спросил он вошедшего вдруг фельдфебеля, и голос у него слегка дрогнул. — Да и как это, братец мой, ты прямо так, без доклада, лезешь!.. — и майор нахмурился.

— Простите, ваше высокоблагородие!.. Совсем забыл… растерялся…

— Так что ж?..

— Я, ваше высокоблагородие, насчет Гаврилова…

— Ну, вот, нашел тоже время лезть с пустяками! — рассердился совсем майор. — Пьян?.. — Да черт его побери совсем!.. Не до него теперь!.. У нас, вон, враг на носу, а он…

— Никак нет, ваше высокоблагородие… Я не насчет того… А дело совсем нечисто…

— Что ж тут нечистого-то?.. — Валяется, пьяный там где-нибудь… Найдете — выпороть!..

— Никак нет… Гаврилов бежал от нас, ваше высокоблагородие… туда бежал… к вору…

— Что-о?!. — майор вскочил и весь побагровел. — Да ты сам не пьян ли?.. Бежал… к Пугачеву… Гаврилов?!..

Чубенко вытаращил глаза и в упор глядел на фельдфебеля. Он тоже полагал, что тот пьян. С

таким же удивлением смотрели на него и все прочие. Все знали Гаврилова, и никому и в голову не могло прийти, чтоб он изменил… Такой-то добрый, кроткий солдатик!.. Нет, этого быть не может! Фельдфебель наврал что-нибудь…

— Да ты пьян, каналья! — разгорячился майор. — Пошел вон!..

— Никак нет, ваше высокоблагородие, я не пьян… А только Гаврилова наши видели… Демидов и Андрусов…

— Где?.. Где видели?..

— Да там, в ихнем лагере… у Пугачева, ваше высокоблагородие… Одет по-казацки, выбрит…

Майор просто окаменел. Он даже совсем забыл, что крепость в осаде и в очень опасной осаде, так поразило его это известие!.. Он бы нисколько не удивился, если б ему сказали, что Гаврилов бежал на родину, к жене, к детям… Но чтоб он изменил, — перешел на сторону воров, грабителей и разбойников, — нет, он никак не мог представить себе такой подлости!..

— Нет, этого быть не может! — хрипло как-то проговорил он.

— Да, Петр Петрович, этого быть не может! — с жаром поддержал и Чубенко, тоже вдруг весь побагровевший: — щоб Гавриленко… щоб этот хлопец с Украины… В жизнь не поверю, пока сам не увижу собственными глазами!.. — и Чубенко даже кулаком по столу стукнул…

X.

Наступило скучное осеннее утро; по небу, точно дым, плыли серо-свинцовые облака; накрапывал мелкий, но частый дождик; дул ветер… Майор давно уже был на валу; были там и прочие офицеры. Они долго следили за неприятельским лагерем, но там не замечалось ничего подозрительного… Дымились костры и вокруг них сидели оборванцы. Их громкий говор и смех порой доносился ветром до крепости. Они галдели о чем-то, но о чем именно, расслышать было нельзя за дальностью расстояния…

Майор был мрачен, угрюм… Вчера он всю ночь почти не мог глаз сомкнуть… И вовсе не пугачевцы его беспокоили, он даже точно забыл о них, а Гаврилов… Да, этот тихий и скромный солдатик перевернул у него всю душу!.. То злоба, страшная злоба на негодяя-изменника клокотала в груди майора… Глаза у него сверкали; он крепко сжимал кулаки…

— Да живу я быть не хочу, если не поймаю только этого подлеца и мерзавца! — говорил он, совсем задыхаясь от бешенства. — И, как собаку, его повешу!.. Закон дозволяет мне… Нарушить подло присягу… все… все забыть: и Бога, и государыню, и честь солдатскую… да это… это черт знает что такое!.. Разве я мог подумать когда-нибудь?.. Разве могло мне прийти в голову… даже во сне присниться?.. Ах, негодяй… ах, мерзавец!.. Собака!..

То опять становилось майору ужасно больно, обидно, горько ему становилось как-то… Он чувствовал себя глубоко обиженным, оскорбленным…

— И что я ему сделал, Анюта, что он отплатил мне такою подлостью? — говорил он. — Ведь, я, как сына, любил его, подлеца… мне жаль его было!.. Ну, молод еще… скучал… тосковал по жене, по детям… и запивал с горя. Все это я понимаю и понимал отлично… Ведь, он человек тоже… хоть и солдат… и чувствует… Ну драл я его — и не мог не драть… Это мне долг велел, служба… Не мог же, ведь, он на меня за эти порки озлобиться…

— А чем знать, Петя? — замечала Анна Григорьевна. — Может, оне-то именно…

— Нет, быть не может!.. Тут есть другое что-то… Ведь, он чуть не каждый раз, после розог-то, в ногах у меня валялся, просил прощения… Ведь, чувствовал он, подлец, что сам виноват и получает должное… Нет, тут не порки!.. Так что же такое? что?.. Иль худо я обращался с ним?.. Я при других только, как на солдата, на него смотрел, а когда он приходил к нам, ребятам сказки рассказывал, игрушки им приносил, как я с ним тогда обращался? «Семен… Семенушка»… только и слов, ведь, было!.. И чаю стакан-другой ты, бывало, нальешь, ему, и пирога кусок дашь, и будку… А он чем отплатил за это? Ведь, это обидно, Ашота… больно… Веришь ты в человека, и он вдруг таким подлецом оказывается!.. Горько, моя родная!.. Да, нет, погоди же ты, вражий сын!.. — и майор опять сжимал кулаки. — Я тебя из-под земли вырою и повешу!.. А не удастся, так, все равно, подстрелю, как собаку бешеную!..

Сегодня утром, поднявшись еще до солнышка, майор приказал собрать весь гарнизон на плац и сделал ему перекличку. Оказались все на лицо, кроме троих убитых, пятерых раненых, лежавших теперь в казармах, под наблюдением гарнизонного фельдшера, и, наконец, Гаврилова…

— Андрусов и Демидов! — крикнул майор.

— Здесь, ваше высокоблагородие!

— Ну, говорите мне: видели вы Гаврилова у пугачевцев?

— Так точно, ваше высокоблагородие, видели! — отвечали в голос оба солдатика. — Вот, как сейчас… Выбрит он по-казацки… с ружьем и с саблей, как следует…

— Да вы, не ошиблись ли?.. Не другой ли кто это был? Похожий, может…

— Как можно, ваше высокоблагородие, ошибиться!.. Видели, как сейчас, вот… Он самый и был Гаврилов…

Майор тяжело вздохнул и вдруг стиснул зубы; глаза у него блеснули…

— Так вот что, ребятушки! — обратился он к гарнизону. — Слушайте!..

И он сказал им речь, не длинную, но горячую и прочувствованную. И эта речь произвела сильное, впечатление… Он говорил о присяге и ее святости; говорил о том, что измена — самое тяжкое из всех преступлений, и всякий изменник получает страшное наказание и в этой жизни, и в будущей: он человек проклятый, и Сам Бог от него отступается…

— И, вот, братцы мои, — каким-то глухим, но, все-таки, твердым голосом говорил майор, — тому, кто поймает изменника и живым приведет ко мне, будет выдано 50 рублей; а кто убьет… застрелит, зарежет эту собаку, — тому 25… Поняли?

— Поняли, ваше высокоблагородие!

Солдаты тоже были крайне возмущены изменой Гаврилова… Они никак не могли ожидать этого.

И вот майор, мрачный, угрюмый, как и это, нависшее над ним, небо, ходил взад и вперед по валу… Чубенко, тоже угрюмый, озлобленный, смотрел в трубу на неприятельский лагерь. Но теперь уж не Пугачева выглядывал он, а Гаврилова…

— Нет, не видать что-то его, Петр Петрович! — говорил он, опуская трубу. — Мне кажется, не брехня ли это? Ведь, я говорил вчера, да и сегодня еще повторяю: до тех пор не поверю, пока не увижу собственными глазами!..

— Нет, не брехня, Федор Павлыч! Демидов и Андрусов не посмели бы так бесстыдно лгать… Да и зачем им? Какая польза?..

— А, может, злы они на него?

— На Гаврилова-то? Да, ведь, он мухи никогда не обидел… слова никто от него не слыхал грубого, неприветливого. Ну, вот, и верь людям! Недаром же говорят: в тихом омуте… Да, откормили мы, отогрели змею! — Майор замолчал и опять стал ходить.

— А я, знаете, не понимаю, Федор Павлович, — заговорил вдруг он. — Не понимаю их тактики…

— То-есть, как это?

— Да чего они ждут там… медлят?.. Я целую ночь сегодня ожидал приступа… Артиллеристы на местах были с зажженными фитилями; гарнизон тоже, не раздеваясь, спал… А приступа нет… Не понимаю я! А, ведь, к ним прибыло подкрепление… пушки… Сила у них большая теперь… Сохрани и помилуй, Господи!..

Чубенко слегка усмехнулся.

— Вы точно жалеете, Петр Петрович, что они нападать медлят! — говорил он. — А у них, вероятно, есть тоже какие-нибудь соображения… Черт знает, какие именно! — И вдруг у Чубенки явилась мысль. Он смутился даже… — А знаете, что я думаю, Петр Петрович? — нерешительно как-то заговорил он.

— А что?

— Да не хотят ли они, подлецы, взять нас просто, без выстрела? Вы понимаете: голодом нас заморить хотят…

— Да, Федор Павлыч говорит правду, — поддержал Дюжиков. — Эта мысль и мне пришла тоже в голову… Что ж, это вполне возможно… Гаврилов им рассказал, конечно, что у нас мало съестных припасов: на месяц, майор, не хватит… Ну, вот, они и будут ждать… А придет обоз с провиантом — они перехватят его… Да, это возможно, — повторял он. — Весьма, возможно!.. Да сохранит и помилует нас Господь!..

Майор даже вздрогнул и побледнел. Такая мысль ему еще не приходила в голову… А это могло случиться… И, вот, пред ним вдруг мелькнула картина, такая мрачная и ужасная, что у него даже мурашки пошли по коже. Представилось вдруг ему, что провиант весь вышел… весь, до последней крошки, и в крепости наступил голод, во всем его ужасе…

Плачут бедные дети и просят есть… Их плач и стоны способны разорвать какое угодно сердце!.. Солдаты измучены, истощены и бросили свои бесполезные ружья… может быть ропот… бунт… измена даже!..

И майор опять вздрогнул и даже закрыл глаза… Что ж делать тогда? Сдаться… живыми сдаться! Вору разбойнику… каторжнику?.. Да никогда, ни за что на свете! Нет, лучше тогда разом совсем кончить, без мук, без страданий и без позора: взорвать крепость! Но и от этой мысли по телу майора опять пробежала дрожь…

— Да нет, господа, этого быть не может! — пробормотал он. — У них другие причины какие-нибудь… Быть может, они еще все, собираются и обсуждают: как лучше и с какой стороны напасть… — В эту минуту майор желал даже, страстно желал нападения.

А погода, мрачная и дождливая, стала как будто, проясниваться… Дождь перестал, и из-за туч, все еще покрывавших небо, выглянуло вдруг солнышко… Чубенко опять взял трубу и стал глядеть на неприятельский лагерь. Долго смотрел он и вдруг…

— А, ведь, они затевают что-то, майор, — говорил он. — Вон, на коней садятся…

— А-а! — Майор чуть не обрадовался.

— Да нет, впрочем, не приступ это… Их человек десять только… Они просто коней проминать хотят, — застоялись… — И вдруг Чубенко чуть не выронил из рук трубки… Он задрожал, побагровел…

— Вот он, майор! Вот этот подлец… изменник!..

— Где? где?..

— Да вон этот, четвертый с краю… Ну, видите?..

От вражьего стана отделилось человек десять казаков и стали кружить по степи, то приближаясь, то опять удаляясь от крепости. Они, очевидно, точно, объезжали коней… Майор стиснул зубы…

XI.

Прошла неделя. Погода стояла прескверная… Редко-редко когда выглядывало из-за туч солнышко, да и то на каких-нибудь полчаса — и опять скрывалось… Дождь лил, почти не переставая, и в крепости стояла непролазная грязь… Чтобы установить сообщение между казармами, домами коменданта и других офицеров и валом, устраивали не только мостки, а чуть не целые мосты…

И опять в Грозной царили прежние невозмутимые тишина и скука… Солдаты точно совсем забыли, что они в осаде, что неприятель от них в версте какой-нибудь, много — в полуторых, и каждый занимался своим делом… Казармы жили обычной, повседневной жизнью… Мужчины, — кто починял мундир, кто «прикидывал» к сапогу подметку иль занимался чисткой ружья… Бабы стряпали, нянчились с ребятишками; иной раз шили кое-что, а больше, впрочем, перешивали и починяли… Даже артиллеристов у пушек не было. Их комендант тоже отпустил в казармы, и они, оставив свои фитили и банники, взялись кто за иглу, кто за шило… Только усиленная дневная и, уж особенно ночная, охрана Грозной показывала, что крепость все-таки на военном положении…

Пугачевцы не уходили, хотя и ничто решительно не показывало, чтоб они готовились к приступу… Кое-кто из них разместился в холщевых палатках и в калмыцких войлочных кибитках. Но большая часть зябла и мокла на открытом воздухе, с великим трудом поддерживая то и дело гаснувшие костры…

— Ну, что, Ерофеев? — каждое утро спрашивал майор, приходившего к нему фельдфебеля.

— По крепости все благополучно, ваше высокоблагородие! — рапортовал тот. — Часовые на своих местах…

— Ну, а тот… вор-то… разбойник?.. Не замышляет он ничего там?..

— Кажись, нет, ваше высокоблагородие… Не видать что-то…

Майор хмурился и усиленно затягивался из трубки.

— Ну, ладно, ступай с Богом! — говорил он.

Да, скучно, ужасно скучно, утомительно однообразно тянулась эта неделя!.. Это, вечно покрытое густыми темными облаками, небо; этот почти не перестающий дождь, то мелкий и частый, точно из сита, то все крупней и крупней, и, наконец, превращавшийся в настоящий ливень, — все это наводило такую неописанную тоску, что просто хоть умирай!..

Зато Анна Григорьевна была совершенно довольна и опять чувствовала себя, как рыба в воде!.. К ее величайшему удовольствию, Петр Петрович окончательно, кажется, плюнул на этих воров и разбойников, и в домике опять пошла обычная жизнь: «все вовремя»… Теперь уж майор не торчал на крепостном валу, с раннего утра да до поздней ночи, а ночью не вскакивал вдруг с постели и не бежал узнавать, все ли в крепости благополучно. Нет, он сидел, все дома и вел такую же, как и всегда, жизнь.

Встав в семь часов, он пил чай и потом, с трубкой в руках, прохаживался по комнатам; подходил иной раз к окну и постукивал по стеклу пальцами… И так вплоть до обеда. После обеда он «задавал высыпку» часов до трех-четырех. Затем опять чай, потом ужин, и в девять часов Петр Петрович уже в постели и спит себе преспокойно вплоть до завтрашнего утра…

Вот это Анна Григорьевна называла «настоящею жизнью» и просто блаженствовала!..

Но если б хоть на минуту могла она заглянуть в душу майора и посмотреть, что там творится, она бы просто с ума сошла. И как же ошибалась бедная женщина, думая, что Петр Петрович опять зажил прежнею жизнью: «все вовремя»! Положим, что он вставал теперь в семь часов утра, а ложился спать в девять вечера и не вскакивал ночью, чтоб осмотреть крепость. Но Анна Григорьевна ошибалась, полагая, что муж «преспокойно спит». Не только «преспокойно», но зачастую он и совсем не спал, а только лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим…

Теперь майор был вполне убежден, что эти «подлецы и мерзавцы» хотят взять их голодом… Да, это было ясно, как день, чего яснее!.. А то с какой стати стоять им лагерем вот уж целую неделю, зябнуть, мокнуть под дождем и не делать ни малейшего нападения, даже ни одного выстрела!.. И майор страшно мучился и страдал… Но он так хорошо владел собою, так хорошо притворялся голодным, когда ему и кусок не шел в горло, и страшно усталым и сонным, когда ему совсем не до сна было, что Анна Григорьевна не замечала в нем ничего подозрительного. Даже совсем напротив…

Да, майор страшно страдал, но он от всех скрывал, это и от своих домашних и даже от офицеров… Порой, он смеялся даже, шутил, вспоминал старые анекдоты… Но только одна непроницательная Анна Григорьевна не замечала, до какой степени все это было натянуто… Раз как-то майор заглянул в хлебный амбар, в кладовые и пришел в ужас… Припасов оставалось не более, как недели на две. Через неделю можно было ожидать обоза, но его разбойники перехватят, конечно… И что же… что же тогда?.. Дрожь пробежала у него по телу… Он чуть не схватился руками за голову, но удержался: он был не один. Свидетельствовал с ним вместе припасы и Дюжиков, исправлявший должность крепостного провиантмейстера. Майор как-то робко взглянул на него. Тот только покачал головою.

— Придется выдавать половинный паек, Петр Петрович! — говорил он.

— А если это покажется им подозрительным?

— Но почему же? Скажите просто, что обоз с провиантом замедлит, по всей вероятности, что и бывало, кстати… Ну, а там…

— Что там, Гаврила Степаныч?..

— Да остается положиться только на милость Божию… Кроме, как на Него, нам не на кого надеяться! Есть только один исход, Петр Петрович… Вы знаете…

Да, что им, наконец, самим надоест, и они уйдут или что у них не хватит тоже съестных припасов…

— Да, только это, — и ничего больше…

Майор молчал, низко понурив голову, и страшно, невыносимо страдал… Да и еще бы!.. Ведь, у него на руках гарнизон: две сотни слишком солдат, с их женами и детьми; три офицера, из них у двух тоже семьи; наконец, собственная семья… И он… он один за всех отвечает, за их безопасность, жизнь!..

— Вы только дома-то не проговоритесь как-нибудь, Гаврила Степаныч! — говорил он. — А то, ведь, знаете… Сохрани и помилуй Бог!..

Но Дюжиков только пожал плечами: «дескать, я еще не с ума сошел».

Наступило молчание.

— Есть, правда, и еще один выход, — заговорил вдруг он, — но тоже слишком неверный…

— Какой же это, Гаврила Степаныч? — встрепенулся майор.

— Да неверный, я говорю, — повторил Дюжиков. — Это — послать нарочного в город за подкреплением…

— В город!.. Но до него, ведь, без малого полутораста верст!

— То-то и есть вот!.. Пока верховой доедет (если только эти мерзавцы еще не перехватят его) да пока подоспеет помощь, — пехота и артиллерия… Вы знаете, сколько времени-то пройдет? Нет, лучше и не говорить об этом! — И Дюжиков даже рукой махнул. — Только на Бога одного и надежда!

— Да, только на Бога! — повторил майор и тяжело вздохнул.

— Ну, ребятушки! — весело говорил он в этот же день солдатам, — придется вам попоститься немного… Харчей-то у нас негусто, а обоз не раньше, как через неделю еще придет… Дороги-то, ведь, какие!.. А то, пожалуй, и еще позже…

— А ежели он теперь, ваше высокоблагородие… послышался вдруг чей-то робкий голос.

— Что?

— Да ежели он, Пугач-то, перехватит обоз?..

Майор засмеялся, хотя и далеко не искренним смехом.

— Ну, и чудак ты, Герасимов! — говорил он. — Так ты что же полагаешь, всю осень и всю зиму разбойник гостить здесь будет? Не беспокойся: уйдет, не сегодня-завтра!.. Я и то удивляюсь, чего он ждет и не трогается?.. И не палит тоже... Порох весь вышел верно! — усмехнулся он. — Так, вот, пока не прибудет к нам провиант, уже, нечего делать, ребятушки, попоститесь малость: посидите на половинном пайке!.. Оно и полезно будет, да и для души спасительно! — пошутил майор. — Положим, провизия-то у нас есть... — продолжал он, искоса наблюдая за выражением лиц солдат, — негусто, а все ж чуть не на месяц хватит, да еще и с излишком хватит, а все же на всякий случай... Это насчет того, значит, если обоз замедлит... Дорога-то страшно скверная!.. Ну, а Пугач уйдет, — не сегодня-завтра! — заключил он. — Наскучит ему под дождем-то, на холоду!.. Не так ли, ребятушки?..

— Так точно, ваше высокоблагородие!.. — согласились солдатики. — Вестимо, уйдет... наскучит!

Домой вернулся майор как раз к обеду.

— А у тебя и готово уж все, Анюта! — весело говорил он. — Давай-ка, давай скорей!.. Страх, я проголодался!.. — И он принялся за щи.

— Да, видно, что голоден! — усмехнулась Анна Григорьевна. — Только одну тарелочку!..

— А по-твоему их пять либо шесть надо? Да это и не тарелочка, матушка, а тарелища!.. Обыкновенных-то три войдут!..

— Ну, ладно, ври, там!..

И майор ел, т. е. больше показывал вид, что ест, и в то же время поглядывал искоса на жену, на детей... И опять страшные мысли полезли в голову... Ему вдруг представилось, что наступит день, когда не только этих наварных щей, этой сочной, жирной баранины, гречневой каши с маслом, а хлеба даже... хлеба корки сухой не будет!..

— О, Господи! — чуть не крикнул он, и оттолкнул от себя тарелку.

— Что с тобой? — тревожно спросила его Анна Григорьевна. — Ты вдруг так сморщился, побледнел! Болит что-нибудь?..

— Да, поясницу маленечко заколoло... Погода такая скверная!.. Это всегда у меня к дождю... Ну, за хлеб за соль, Ашота! Бог напитал!

— Ну, а каши-то? Только попробуй что за каша!.. Пальчики все оближешь!..

— Нет, не могу я больше, — по горло сыт!.. — И он поднялся из-за стола.

Была страшно темная, бурная ночь... Резкий, холодный ветер прохватывал до мозга костей; дождь лил потоками... В лагере пугачевцев давно уже погасли сторожевые огни... Поддерживать их не было никакой возможности: дождь то и дело заливал их, задувал ветер... Только кое-где в этом густом, непроницаемом мраке мелькали огоньки фонарей... Было часов одиннадцать, и пугачевцы давно уже спали. Они разместились, как только могли, у погасших костров. Кто накрылся рогожей, а кто и двумя, и тремя; кто скорчился весь, свернулся калачиком под тулупом иль зипуном... Спали даже часовые, и в темноте ночи, сквозь шум дождя и завывания ветра, слышался, порой, громкий храп...

В одной из палаток мелькал огонек. Сидел там, на ковре, поджав под себя ноги, рослый,

здоровенный детина, лет 45, рябой, с рыжею бородою. На нем была красная шелковая рубашка с расстегнутым воротом, из-за которого выглядывала богатырская, заросшая волосами, грудь; за золотым кушаком был заткнут широкий нож и два пистолета… Это был, не без известный в истории, Чика, один из сподвижников Пугачева, разбойник, сорви-голова, каких мало… Он прошел, что называется, и огонь, и воду, бывал не раз в каторге, а теперь подвизался с Емельяном Иванычем, в качестве одного из его «енаралов»… Чика был уже порядочно пьян. Пред ним стоял, больше чем на три четверти опорожненный, штоф с водкой, а возле еще один, но уже пустой. Тут же лежала закуска: вобла и ломтя два-три ржаного хлеба… Немного поодаль стоял молодой казак, смуглый, черноволосый и тоже заметно выпивший. Это был Гаврилов.

— Ну, Сенька! — говорил слегка заплетающимся языком Чика. — Смотри, да если ты соврал что-нибудь…

— Сохрани, Господи, и помилуй! Разве я о двух головах!

— То-то, брат!.. А то, ведь, у меня расправа короткая: с живого шкуру сдеру!.. Чика шутить не любит! Так, значит, правду ты говорил все?

— Провалиться мне на сем самом месте?..

— Гм… А все оно, знаешь, как-то сумнительно!.. Вот ты мне сказывал, что у них и на три дни не хватит харчей, а прошла уж неделя целая…

— Ну, что же? значит, и голодают теперь!.. Да голод-то, ведь, не тетка… Еще денька два-три, — сдадутся…

— Вот то-то: денька два-три! А ты не слыхал, как молодцы-то у меня там ругаются? Ведь, этак, того и гляди, бунт настоящий выйдет, и мне самому, пожалуй, башку свернут!.. Да!.. — Чика налил еще стакан, выпил, слегка поморщился и закусил воблой.

— Ведь, если б не водка только, так ничего б с ними и не поделать! — продолжал он. — И сколько я ее этим подлецам стравил!.. Как только нальют зенки, — и успокоятся, дрыхнут, вот как теперь… А то, ведь, хоть караул кричи… «На кой черт нам мокнуть да зябнуть здесь», говорят, «да ждать, когда у них брюхо там подведет с голоду»? А что же, оно, ведь, и правда, Сенька!.. Ведь, я говорил, что надо бы приступ сделать… Взяли бы мы эту Грозную, как пить дать!..

Гаврилов слегка усмехнулся.

— Ну, это не так-то легко было бы — говорил он. — Харчей у них, точно, что малость самая; зато пороху — сколько хошь!.. И ружей куча запасных…

— А гарнизон-то велик ли, говорил ты?

— Девятьсот человек, — соврал, не моргнув глазом, Гаврилов. — И ружей, говорю, много… — Да мне, ведь, что, впрочем — продолжал он. — Ты здесь главный распорядитель, и поступай, как знаешь!.. А все ж, говорю опять: на приступ идти, это, значит, людей совсем задаром губить… Зачем же? И так можно взять будет крепость: сами сдадутся!

Чика выпил еще стакан, крякнул и закурил трубку.

— А мне, собственно говоря, плевать на эту крепость-то самую! — говорил он. — На кой она

прах мне? Еще добро-б поживиться там было чем, а то, ведь, ты говорил, что ни казны, ничего ценного совсем нет…

— Да, это точно… Бедность у них большая там… Только одним жалованьем и живут, значит. А велико ли жалованье-то? А у каждого офицера одних ребят чуть ли не по десятку! Ну, кормятся еще кое-как, а чтобы денег или, там, ценных вещей каких — этого и в помине нет!

— Вот то-то и есть, Семен… Так на кой ляд нам крепость-то эта? Нет, брат, шабаш!.. — И он хлопнул себя кулаком по колену. — Сделаю завтра приступ, — двину всю антиллерию… Хоть разгромлю их, подлецов, по крайности!.. А там и дальше гайда… Страх, как мне надоело!.. Да и молодцы мои больно уж того… ропщут… Того и гляди, говорю, бунт будет и мне самому снесут голову… Да нет, шалишь, брат! Мне голова-то своя дороже!..

— Все это так… все так… — говорил Семен. — Да только не лучше ли просто уйти отсюда, не трогать их… Ну, их к черту!..

— Да я хошь сердце на них сорвал бы… уж больно они озлили!.. А, впрочем, и то, правда… Черт их побери всех… Ну, да там увидим… утро вечера мудренее… А ты не хошь ли еще стакашек?

— Благодарим покорно! Пил уж, кажись, достаточно.

— Ну, ладно, дерни еще один, да и проваливай! Спать-то хочется… На-ка, хлобызни, брат!..

Гаврилов взял у Чики стакан. Но он не «хлобызнул» его, а чуть «енарал» отвернулся, выплеснул быстро наземь.

— Прощенья просим! — говорил он. — Благодарим покорно!

— Не на чем, брат… Ступай!..

Гаврилов вышел. Но чуть только шагнул он за порог палатки, как хмелю у него точно и не бывало!.. Он усмехнулся.

— Ну, это еще поглядим мы, как двинешь ты антиллерию, — пробормотал он. — Я, вот, тут штуку одну устрою!

— Эй! кто идет? — окликнул его вдруг проснувшийся часовой, мужик с толстой дубиною.

— Свой! Не узнал разве? Чего орешь?

— Где тут узнаешь в такую темнять… — И часовой опять захрапел.

Осторожно пробирался Гаврилов между рядами спящих… Кое-где окликали его сонные караульные, он отвечал: «свой!» и шел дальше. Но вот он дошел до зарядных ящиков, пошарил в кармане, достал ключ и отворил эти ящики настежь, один за другим…

— Ну, вот, и двинь теперь антилерию! — говорил он и весело улыбался, поглядывая, как проливной дождь превращал порох в кашу какую-то, а потом в кисель…

Устроив такую «штуку», Гаврилов опять пошел по рядам пьяных спящих. Перед тем, у которого было ружье, он наклонялся и клещами ломал замок. И так ходил он часа два, пожалуй, не обращая никакого внимания ни на дождь, ни на усталость страшную: у него даже руки заныли от этой своеобразной работы… Ему удалось, таким образом, перепортить сотни полторы ружей… И никто не проснулся, никто ничего не слышал!

Но вот Гаврилов, иззябшие, до нитки промокший, остановился и перевел дух… Минут пять стоял он на месте, поглядывая на спящих. И вдруг засмеялся.

— Ну, а теперь и прощайте, братцы! Не поминайте лихом! — довольно громко проговорил он и, повернувшись, зашагал по направлению к крепости.

— Эй, кто идет? — окликнул его опять часовой.

— Свой, брат, казак Гаврилов…

— А-а… Ну, проходи с Богом!..

И Гаврилов исчез во мраке…

XII.

Был уже третий час ночи… Дождь, как-будто, поослабел немного, не лил уже такими потоками, но темнота была все такая же, зги не видно, и все так же завывал ветер… В домике коменданта все спали. Заснул даже и Петр Петрович, совсем измученный в эти дни думами и бессонницей… Но крепче всех спала старуха-кухарка, Марфа. Она не слыхала, как кто-то вдруг застучал в окно, сперва тихонько, потом все громче и громче и, наконец, забарабанил изо всей силы… Старуха проснулась.

— Кто там? — спросила она, подымаясь с лавки.

— Пусти, бабушка, это я! — послышался с улицы глухой голос.

Старуха приотворила окно, и в кухне ворвалась струя резкого, холодного ветра вместе с дождем. Она даже вся вздрогнула и отскочила.

— Да кто там такой?.. — повторила она.

— Да я, я, бабушка… Семен Гаврилов… Аль ты не узнала меня?..

— Господи, Царь Небесный!.. — Старуха даже руками всплеснула. — Откуда ты взялся, Сенька?.. Ведь, говорили, что, будто бы…

— Да впусти ты меня, ради Бога!.. Весь перезяб я, вымок!.. Дай маленько отогреться, передохнуть!.. А барин спит?..

— Вестимо, спит!..

— Так разбудить его надо, бабушка…

— Что? разбудить?.. Да ты, никак, ошалел, парень!..

— Да, разбудить… — повторил Гаврилов. — И сейчас же, немедленно… Дело, говорю, больно спешное… Разбуди, бабушка!.. Да только не говори, что это я, а просто скажи, что солдатик один пришел и хочет видеть майора по нужному… по очень нужному делу… насчет Пугача, скажи…

— Пугача?.. Мать Пресвятая Богородица!.. Да он уж опять не того ли…

— Да… да… иди же, иди скорей!..

Старуха ушла, и Гаврилов тотчас же вслед за нею проскользнул в кабинет майора. Он был как раз возле кухни.

— Что… что говоришь ты?.. — забормотал спросонья майор.

— Солдатик какой - то вас спрашивает… «По очень», говорит, «нужному делу»… Насчет Пугача что-то…

— А-а… Да разве… — и майор разом вскочил с постели. — Где же он?.. Где солдатик-то?..

— Да в кухне там дожидается.

Майор накинул халат и пошел в кухню. И вдруг он в изумлении остановился.

— Ваше высокоблагородие!.. — послышался из кабинета голос.

— Как? Да он еще в кабинет забрался?.. Как смел?..

И Петр Петрович распахнул дверь. В это время Марфа вошла из кухни с зажженной свечкой… Майор отступил и просто окаменел даже от изумления… Весь мокрый с головы до ног, дрожащий, бледный, стоял перед ним… Гаврилов!.. Майор схватился за бок, где иногда бывала у него шпага, но ее, разумеется, теперь не было… Потом он взглянул на Гаврилова. В том не было решительно ничего страшного. Он даже был безоружен. Но, ведь ему стоило только протянуть руку, чтобы сорвать со стены кинжал или саблю, и… и майор шагнул опять шаг назад…

— Ваше высокоблагородие, — заговорил, наконец, Гаврилов, и голос его дрожал. — Зачем вы на меня так смотрите?.. Иль вы боитесь?..

— Бою-юсь?.. я… тебя?.. Ах, ты, мразь ты этакая… собака!.. — Глаза майора сверкнули, и он шагнул вперед. — Марфа, оставь здесь свечку и ступай в кухню!.. Тебя я боюсь? — продолжал майор и сжал кулаки, стиснул зубы. — Нет, врешь, собака!.. Ты не «осмеешь на меня поднять руку… не посмеешь дотронуться до меня!.. Нет, не боюсь я, а не могу… Не могу понять, как ты решился… как ты осмелился прийти сюда?.. А?.. Ведь, ты не убить же меня пришел, я это вижу… Зачем же?.. Уж не бежал ли ты от этих воров и разбойников, как и от нас, бежал?.. Не поссорился ли ты с ними?.. И не хочешь ли ты просить у меня прощения?.. Не с повинной ли ты пришел?.. А?.. — И майор вдруг громко захохотал. — Да знаешь ли ты, изменник, мерзавец!.. что я, вот, сейчас же кликну сюда солдат… и не пройдет и пяти минут, как ты будешь болтаться в петле!..

— Ваше высокоблагородие…

— Молчи… Иуда… Христопродавец!.. пяти минут не пройдет, — и тебя повесят!..

— Нет, ваше высокоблагородие, вы меня не повесите… Я ни в чем неповинен…

— Что-о?!. — майор вытаращил глаза. Он думал, что он ослышался. — Что ты сказал, собака?..

— Ни в чем неповинен я, ваше высокоблагородие — повторил Гаврилов. — Не изменял я вам, сохрани и помилуй меня Господи!.. мне даже и мысль-то такая никогда не приходила в голову… Да я лучше бы, как собака, подох, чем такое сделать!.. Нет, ваше высокоблагородие… А вот что надумал я…

И Гаврилов все рассказал майору. Тот слушал его сперва с изумлением. Но чем дальше говорил Гаврилов, тем все более и более прояснялось лицо старого коменданта, и он уже не со злобой и негодованием смотрел на солдатика, а наоборот, с какой-то любовью, как на любимого, дорогого сына, который пропадал долго, Бог весть где, и, наконец, вернулся, здравый и невредимый…

Вот что рассказал ему Гаврилов: еще задолго до нашествия пугачевцев на Грозную, а именно в ту ночь, когда пришел обоз с провиантом, он думал, и много думал… Подвыпившие казаки много чего болтали о пугачевских полчищах… Они говорили, что у Емельки силы несметные… что у него артиллерия, и что он так и берет одну за другою крепости и без пощады вешает комендантов и офицеров.

— Не больно-то я этим россказням верил, ваше высокоблагородие, — говорил солдатик. — Брешут все больше, думал… Однако, и то опять… Чем знать: может, и в самом деле у них силы немалые и антиллерия… Ну, а у нас и всего гарнизону-то две с половиной сотни да пушек четыре — и то старенькие… Ну, вот, и пришло мне это, ваше высокоблагородие, в голову: а что, думаю, если, и в самом деле, придут они, воры-то, и впрямь у них силы большие и антиллерия, так не взять ли да не перебежать ли к ним да глаза и отвести им не тем, так другим манером?.. В доверие войти, значит… Сперва это я не совсем в сурьез думал, ваше высокоблагородие, а так только… Ну, а потом, как подошли они к крепости, вижу я: точно, большие силы у них, а уж особенно, как подкрепление-то к ним прибыло с антиллерией… Ну, думаю: дело совсем неладно!.. Вконец они разгромят нас, как пить дадут!.. Возьмут крепость… И что тогда будет с нами, так и думать-то страшно было…

— Да ты почему ж это так думал то, вражий сын? — говорил майор, но не сердитым, а скорее ласковым голосом. — Почему думал, что они возьмут крепость?..

— А как же, ваше высокоблагородие?.. Силы то, ведь, какие!.. Пушек теперь одних семь да ружей сколько… Взяли бы, беспременно взяли, ваше высокоблагородие! — совершенно уверенно повторил он. — Оно, конечно, не сразу, где же?.. А много бы только народу у нас извели… Сколько солдат убили бы да искалечили!.. Ну, вот, уж тут и взаправду надумал: дай-ка, перебегу к ним, прикинусь изменником да глаза и отведу им!.. Пушу им турусы разные на колесах… Скажу, что гарнизон у нас вовсе не маленький и пушек довольно тоже, и ружей запасных много, и что с крепостью, значит, не так-то легко справиться… Ну, а потом скажу, что припасов съестных у нас почти совсем нет, и что крепость можно взять голодом… Это я, значит, затем задумал сказать, чтоб нападений они не делали… Ну, а там, думаю, весточку вам подать как-нибудь, чтоб в город послать… Я сам даже думал ехать туда, убежать от них, да не смел, признаться, ваше высокоблагородие, без приказания-то…

— Ах, ты, вражий сын!.. И хитер же, шельма! — совсем уже весело говорил майор. — И они тебе, дураки, поверили?..

— Поверили, ваше высокоблагородие, во всем поверили! — усмехнулся Гаврилов, — и рассказал майору о том, что делается в лагере пугачевцев, как собрались они штурмовать завтра крепость, и как попортил он им и порох, и ружья.

— Ну, и каналья же ты, Гаврилов! — совсем любовно говорил майор и потрепал по плечу солдатика. — Вот уж никак я не воображал! Все думал: хохол, так и есть хохол!.. Ну, добрый, кроткий, да в голове-то у него не того, значит… простоват, думал… А у него, — на-тка!.. Такая смекалка, такой ум… Ну, молодец, молодец, Гаврилов!.. — И он опять ласково потрепал его по плечу.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!.. — И солдатик весело, улыбнулся, хотя во все время, как говорил, он дрожал, порою, и зубы у него постукивали.

— Да разденься же ты! — говорил майор. — Сейчас я тебе белье принесу сухое… Смотри, как ты весь дрожишь!..

Он вышел и минут через пять вернулся с бельем и каким-то стареньким казакином. Гаврилов переоделся.

— Ну, а теперь, вот, хвати-ка, живо согреешься! — И майор поднес ему стакан водки. Гаврилов выпил.

— Благодарим покорно, ваше высокоблагородие!..

— Так что ты еще там задумал? Говорил, что куда-то торопишься, до свету чтоб поспеть…

— А вот что, ваше высокоблагородие… Проснутся они и, первым делом, так полагаю, меня хватятся… Чика, по крайней мере… А от меня уж и след простыл… Потом порох заметят попорченный, ружья и догадаются в чем тут дело… Ну, зло их возьмет, и сделают они приступ… Да только не страшен он будет, ваше высокоблагородие, потому, без пушек да ружей немного чего поделаешь… Кинутся, так живо всех картечью разогнать можно… Ну, а я тем временем…

— Что же?..

— Да в город поеду, ваше высокоблагородие, за помощью… Потому, прах их знает, может, они и долго еще здесь простоят… Раздумают уходить-то… Да вот и порох тоже просушат… Не все ж, ведь, поди, ливень будет стоять… Ну, тогда… — Гаврилов нахмурился. — Да, надо, ваше высокоблагородие, беспременно надо!..

— Да ты опомнись, Семен!.. что говоришь ты? Ведь, до города-то полтораста верст!.. Когда еще подоспеет помощь?.. Ты посчитай сколько времени-то пройдет!..

— Да я, ваше высокоблагородие, потороплюсь…

— Ну, где уж «потороплюсь»!.. Ведь, ты и так весь усталый, измученный… Тебе и дороги-то, брат, не вынести… Еще заболеешь в пути… совсем с ног свалишься!..

— Бог милостив, ваше высокоблагородие…

— Нет, не пущу я тебя, ни за что не пущу, лучше и не говори ты!.. Да, наконец, ты опять можешь попасть к ним в лапы… Сохрани Бог!..

— Не попаду, ваше высокоблагородие… А ехать-то, все-таки, надо! — настойчиво повторил он. — Есть у нас там две лошадки… Не то, чтоб уж очень важные, а крепенькие такие и на ходу бойкие… Так, вот, я и возьму одну, ваше высокоблагородие, хоть меренка рыженького… Авось, Господь и сподобит!.. мигом доеду, ваше высокоблагородие, хотя лошадку-то и загнать придется… А жаль! — Гаврилов даже вздохнул слегка. — Славный такой меренок-то! Да ничего не поделаешь!.. На, а там, никто, как Бог, ваше высокоблагородие!.. может, они и уйдут без меня-то… Ну, нападут разик-другой на крепость… да только отбросить-то их не хитро будет… А там, — плюнут да и уйдут…

— Так не зачем, значит, и уезжать тебе… Подожди!..

— Нельзя, ваше высокоблагородие, никак нельзя!.. А вдруг прекратятся дожди-то?.. Порох они просушат… Ну, тогда уж… опасно будет тогда, ваше высокоблагородие… Так я уж поеду… Дозвольте!..

И как ни упрашивал, ни уговаривал майор Гаврилова, — тот стоял на своем…

— Ну, поезжай, коли так, голубчик! — проговорил, наконец, старик и глубоко вздохнул. — И да сохранит и помилует тебя Господь Бог!.. Прощай, мой милый! — он крепко обнял и расцеловал Семена, перекрестил его. — Во век не забуду твоей услуги!.. Да и никто не забудет ее… До сведения самой государыни доведу я… да, доведу!.. Вот, скажу, матушка, какие бывают у тебя солдаты!.. И она уж сумеет наградить тебя!.. Прощай, голубчик; Господь с тобою!..

XIII.

Гаврилов правду сказал. Чуть только рассвело, на крепостном валу вдруг раздались тревожные звуки колокола…

Майор был на ногах. Он так больше и не ложился: не до того ему было!.. Проводив Гаврилова, майор вернулся домой, сильно взволнованный… С одной стороны, ему и весело было, хорошо на сердце, что в его гарнизоне оказался такой солдатик, которому все эти прочие и в подметки-то не годятся. Но, с другой стороны ему было грустно: боялся он, как бы Семен не заболел в дороге да не свалился… Ведь, даль-то какая, подумать страшно!..

«И зачем это я отпустил его?», думал он. «Ведь, все равно, мало пользы в такой поездке!.. Ну, положим, доедет благополучно… Если по тридцати верст в день, так понадобится, значит, пять дней… Затем, если помощь, — пехота, там, артиллерия, — выступит в тот же день… Сколько времени ей понадобится? Больше пятнадцати верст в день не сделать… Еще, добро бы, одна пехота, а то, ведь, пушки… Колеса-то чуть не на каждом шагу в грязи вязнуть будут!.. Ну, вот, еще десять дней… Две недели, значит, да еще с днем… А мало ли что может случиться в эти-то две недели!.. Конечно, если погода не переменится, все холода будут стоять да дожди такие же, так надоест этим прохвостам, и они уйдут… Ну, а если переменится?»… — И майор задумался. — «Тогда правду он говорил, Семен: держаться трудненько будет!.. Ну, да ладно, — никто, как Бог»! — Звук колокола перебил его размышления, и он бросился из дому.

Вся крепость была уже на ногах. Гарнизон выстроен: у пушек стояли артиллеристы…

— Ну, что там, Гаврила Степанович? — говорил майор, поднимаясь быстро на вал. — Идут подлецы-то?..

— Идут… Да что теперь!.. — И Дюжиков усмехнулся. — Теперь они не опасны… молодец Гаврилов!..

И офицеры, и гарнизон уже знали, какую штуку устроил этот солдатик: майор все рассказал им. Чубенко был просто в восторге и хохотал до упаду.

И что ж мудреного? Добрый поручик не мог нарадоваться, что его земляк, этот «хлопец, що с Украины», не только не оказался изменником, а еще…

— О, добре, Семене, добре! — говорил Чубенко и весело потирал руки. — Видно, що в твоем сердце козацская кровь течет!.. А я-то думав…

Солдаты тоже были очень довольны, а уж особенно старик-унтер Сафонов. Он всегда любил Гаврилова от души, и, где только мог, везде ему покровительствовал… И никто, вероятно, во

всем гарнизоне, ни одна живая душа не пожалела, что лишилась награды, назначенной комендантом… Да Бог с ними и с деньгами!..

— Озлились они, Петр Петрович!.. Страх, как озлились! — говорил Дюжиков. — Да и еще бы! В каких, ведь, он их дураках оставил!.. Слышите, как орут?.. А уж особенно этот рыжий… вон, что на сером коне-то, в красной рубашке… Это, должно быть, и есть самый Чика…

И точно, беснование у пугачевцев было неимоверное, и особенно злился Чика. Он просто рвал и метал, грозил кулаками, сыпал проклятия… И вот толпа, тысячи в полторы или в две человек, с казаками с обнаженными саблями во главе, с каким-то диким ревом и воем подвигалась все ближе и ближе к крепости…

— Ага!.. Пора, кажется! — говорил майор. — Постой-ка, я им заткну глотку!.. Раз!.. — скомандовал он. — Два!..

И грянули две пушки разом. Когда рассеялся дым, толпа значительно подалась, с еще большим ревом и воем, оставив немало убитых и раненых…

— Я вам всем головы оторву!.. А уж особенно этому Сеньке-дьяволу!.. Я шкуру с него с живого сдеру, и на огне палить буду! — орал Чика, подскакав на довольно близкое расстояние к крепости. — Я вас сожгу, подлецы!..

— Кладсь! — скомандовал вдруг майор. И гарнизон вскинул ружья. — Пли!..

Раздался залп, и Чика кубарем полетел с лошади.

— Важно! — похвалил майор. — Молодцы, ребята!..

— Рады стараться, ваше высокоблагородие!..

— Высоко бы летала ворона, да, вишь, крылья ей ощипали! — сострил какой-то солдатик. — А теперь, кажись, и совсем обрезали!..

Но Чика не был убит. Его только ранили и как будто довольно сильно. С трудом поднялся он, его подсадили на лошадь, и он ускакал назад к своим, опять отступившим чуть не на две версты, подчиненным… И долго порывы ветра доносили до крепости галдение шайки… Чика что-то кричал, махал руками; он, очевидно, приказывал, но его не слушались…

Но, вот, от вражьего стана отделились вдруг несколько сот человек и бросились опять к крепости… Это были, должно быть, самые храбрые из всей шайки да, притом, и заметно пьяные. Но оружие у них было самое плохое: у кого кол, у кого топор или нож… Майор опять скомандовал: «Р-раз!» — и опять грянула пушка, осыпав толпу картечью… Часть полегла на месте, часть повернула назад; 50–60, самых отчаянных, с красными, потными лицами, со сверкающими глазами, бросились к крепости и стали, цепляясь один за другого, взбираться на частокол…

— Ну, это, вот, молодцы-ребята! — одобрил Чубенко. — Не струсили!.. Не у разбойников бы им служить… А все же, хотя и жаль, признаться, а надо им шкуры попортить!.. — И он скомандовал своим «хлопцам» ударить в штыки на этих «бисовых диток»…

И «бисовы дитки», с ругательствами и проклятиями, обрывались и падали с частокола, отмахиваясь, кто, чем мог… Так продолжалось с час. Но, в конце концов и этот «цвет пугачевской армии» вынужден был бежать, потеряв более половины ранеными и убитыми…

— Ну и смелые, вражьи дети! — одобрил опять поручик. — Вот жаль только, что воры, разбойники!..

А дождь все лил и лил, не переставая… Он то уменьшался немного, то опять усиливался; ветер все так же выл и гудел, пронизывая насквозь холодом… Пугачевцы собрались все в кучу, и опять раздалось среди них галдение, опять они, очевидно, совещались о чем-то, спорили… прошел еще час… И вдруг вся эта толпа, вместе, с ненужными теперь никуда, пушками, начала отступать все дальше и дальше…

— Ну, наконец-то!.. — И точно пудовый камень отвалился от сердца старого коменданта. — Теперь уж сомнения нет: удрали и не вернутся больше! Спасибо, ребятушки, большое спасибо вам!.. — обратился он к гарнизону. — Не положили охулки на руку!..

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — дружно отвечали солдатики.

— Эх, жаль, Семена-то отпустил я! — говорил майор и тяжело вздохнул. — Теперь не нужна уж нам никакая помощь!.. Господь помиловал… Конечно, если б я знал только… Да как же мне было знать!.. Вернуть, вот, если его…

— Нет, где уж вернуть, Петр Петрович! — заметил Дюжиков. — Об этом теперь и думать нечего!.. Жаль, даром парень проездится по такому-то холоду да дождю… в грязь такую!..

— Вот то-то и есть, Гаврила Степаныч!.. — И майор опять тяжело вздохнул.

XIV.

Прошло три недели…

Был ясный, солнечный, тихий день; слегка морозило… Ранним утром эти бесчисленные лужи в крепости подернулись даже тонким ледком, но потом взошло солнышко. и он растаял… Майор в халате, подбитом заячьим мехом, с трубкой в. руках, вышел на улицу, подышать чистым воздухом… Давно уж не выдавалось такой погоды! Все лили дожди, стояли ветра, ну осень как есть настоящая, а вот сегодня, — благодать просто!.. И майор полной грудью вдыхал этот живительный, свежий воздух… Порой он поглядывал на небо: на нем только кой-где виднелись одиночные облака…

— Ваше высокоблагородие! — закричал вдруг часовой с вала. — Идут!..

Майор даже вздрогнул от неожиданности. Он подумал, что уж опять, не они ли, не пугачевцы ли…

— Кто идут?.. — спросил он.

— Солдаты идут, ваше высокоблагородие, — полк… И антиллерия тоже…

Майор только плюнул и поднялся на вал. И точно, в полуверсте расстояния, виднелась приближавшаяся пехота. Ярко сверкали штыки на солнце; виднелись пушки и около них несколько всадников…

— Ну, опоздали маленько! — усмехнулся майор. — Мы и без вас обошлись давно… уж и забыли даже!.. — И он торопливо пошел домой одеваться.

Прошло с полчаса, и майор, в мундире, при шпаге, стоял на вытяжку перед полковым

командиром, маленьким, сухим старичком, с желтоватым, должно быть, желчным лицом и нависшими седыми бровями, и рапортовал о настоящем положении крепости и о бывшей осаде, подробно во всех мелочах описывая каждый день…

— Да, да, хорошо!.. — кисленько как-то проговорил генерал. — Но вы, знаете, все это письменно… письменно изложите.

— Слушаю, ваше превосходительство…

Затем майор пригласил генерала и полковых офицеров к себе, отдохнуть с дороги и закусить, чем Бог послал…

— Уж не взыщите только, ваше превосходительство! — говорил он. — Никаких у нас разносолов нет… Сами изволите знать: что здесь достанешь.. — глушь, дичь…

— Ну, вот… вот… что есть, то и ладно!.. Какие, там, разносолы еще!.. Я солдат… — генерал замахал руками. — Так вы говорите, майор, ушли они в тот же день, как вы гонца послали?

— Да, в тот же, ваше превосходительство…

— Мерзавцы!.. — злобно проговорил старик. — Скажите-ка майор, — продолжал генерал: нет ли у вас чего-нибудь особенного по крепости?

Майор немного опешил.

«Особенного»?.. подумал он. — «Да что ж может быть там особенное?».

— Никак нет, ваше превосходительство! — отвечал он.

— А-а!.. — генерал зевнул. — Потом вы мне говорили давече, — продолжал он, — насчет гонца этого… как его там?..

— Гаврилов, ваше превосходительство… то есть, собственно, Гавриленко… он малоросс… Да мы все его так зовем, Гавриловым…

— Так вы хотите, чтоб я довел это как-нибудь до сведения государыни?

— Да, очень хотел бы, ваше превосходительство!.. Она сумеет его оценить и наградить, как следует… Ведь, все ж, что ни толкуй там, а он спас крепость…

— Да, да… конечно!.. Хотя, положим, тут и дожди помогли тоже, холода эти…

— Но все же, ваше превосходительство, если б он не испортил пороха…

— Да, да… это верно… верно!.. Ну, что же, я доложу, пожалуй… Вы только, майор, все это мне изложите… письменно…

— Слушаю, ваше превосходительство…

— И во всех подробностях: как и что… А я доложу… Конечно, ее величество вполне оценит и наградит… как его?..

— Гаврилова, ваше превосходительство… Да он и теперь уж мне говорил, чего хотел бы…

— А-а… Сам себе назначил награду? Вот как!..

— Так точно, ваше превосходительство… И довольно странную… — майор улыбнулся, но какой-то невеселой улыбкой. — Он просит одного только, чтоб ему дали отпуск и дозволили идти на родину, к жене, к детям… «А больше мне», говорит, «ничего не надо, я всем доволен»!..

— Хорошо, хорошо, майор… Изложите все это письменно и во всех подробностях… Ну, а я доложу…

— Слушаю, ваше превосходительство!..

И майор просидел всю ночь, не разгибая спины, за двумя донесениями. Первое — это был рапорт «во всех подробностях» об осаде Грозной, а второе — и тоже во всех подробностях — о Гаврилове.

А в то время, как комендант писал свои донесения, в крепости шел пир горой… Да и еще бы! Ведь, Грозная справляла сегодня такой праздник, какого у нее еще никогда и не было… Шутка сказать: целый полк в гостях!.. Есть с кем слово сказать, есть с кем выпить… И чуть не всю ночь до рассвета в крепости слышались громкий говор и смех; слышались песни…

Рассказ наш окончен. Что было дальше, в точности не могу сказать… Но лет двадцать тому назад я слышал от своего дедушки, а тот, в свою очередь, тоже слышал от своего отца, что, будто бы, генерал сделал подробное донесение императрице насчет Гаврилова, и та наградила его: чином капрала, пенсией в сто рублей в год и бессрочным отпуском… А последний-то только и нужен был сыну степей Украины!.. И Гаврилов, радостный и счастливый, вернулся к себе на родину…

В тайге. (Очерк)

I.

Ну, теперь кажись, и отдохнуть можно, весь день, почитай, шел, с утра до вечера… Да и пожрать не мешает тоже…

Данила остановился, отер заскорузлой ладонью мокрую от дождя бороду и поискал глазами: нет ли тут где местечка посуше, присесть, а то и прилечь, пожалуй. Но такого не оказалось, и он, покряхтывая, опустился на мокрую землю, под густою, раскидистою елью.

Недавно еще проливной, дождь теперь прекратился, и в воздухе так только слегка моросило что-то, какая-то мокрая пыль. Данила с наслаждением потянулся, расправил члены и стал снимать со спины довольно объемистую котомку.

Вечерело… По небу ползли там и сям густые, темные облака, подгоняемые довольно сильным ветром, и сулили еще много дождя к ночи. Кругом где ни взглянешь тянулся дремучий лес — могучие сосны и ели — такой густой и раскидистый, что местами, а особенно теперь в сумерках, не замечалось в нем ни малейших просветов…

Данила долго рылся в котомке. Вот он вытащил оттуда порядочную краюху хлеба, две каких-то вяленых рыбки, несколько луковиц и небольшой чугунный котелок. Сегодня он решил кутнуть на славу, с устатку, недаром же обломал он экую уйму верст по этой проклятой, местами почти вовсе непроходимой тайге. Решил он хорошенько поужинать и даже чайку напиться. Мигом набрал он хворосту, сложил в кучку и стал высекать огонь. Долго не разгорался отсыревший

хворост. Но вот стали пробегать там и сям ярко-красные искорки все больше и больше, и, наконец, огонек вспыхнул. Данила поставил треножник, повесил над ним котелок, и, в ожидании пока закипит вода, которую он набрал из ближайшей дождевой лужи, принялся за хлеб и рыбу, заедая все это луком. Ужин вышел на славу, и Данила только жмурился от наслаждения… А вот и вода в котелке забульбулькала; брошен туда кусочек кирпичного чаю, пять — шесть, небольших, правда, кусочков сала, и Данила, заморивший уже червячка, с наслаждением закурил трубку и стал задумчиво смотреть на огонь, весело разгоревшийся под котелком.

Даниле было лет 45. Это был чуть не гигант по сложению. Огромные руки с жесткими, заскорузлыми ладонями и такими же пальцами, выдавшиеся мускулы, широкие грудь и плечи, богатырский рост, широкая, окладистая, темно-русая борода, с довольно заметною проседью, лицо смуглое, загорелое, довольно красивое, без следа морщин и ко всему этому — бритая голова колодника.

Да, Данила и был колодником, каторжником, и только с неделю тому назад бежал вместе с четырьмя другими товарищами через подкоп из одного из сибирских острогов…

Года четыре тому назад Данила был сослан на каторгу, обвиненный в поджоге.. Поджег-то собственно не он, а другой, и он знал кто, но этот другой успел благополучно удрать, а все улики оказались против Данилы и его сослали.

Страшная злоба вдруг охватила этого, всегда тихого, кроткого человека, и попадись ему только тогда его предатель — он способен был бы разорвать его на куски. И разорвал бы, хотя Данила не помнит, чтобы когда-нибудь дал пинка кошке или собаке, не говоря уж — жене или детям. Но эта злоба понемногу улеглась и заменилась страшной тоской по родине, по семье. Усердный прежде к работе, сильный, как бык, недаром же он был кузнецом и кузнецом отличным, Данила вдруг стал небрежным, ленивым, за что нередко и попадал под розги. Но это его, разумеется, не исправляло. Он ужасно тосковал, почти ничего не ел, плохо спал по ночам; тюремные стены давили его, как никогда. И вот, он решил, что убежит, во что бы ни стало. И убежал…

Данила докурил трубку, плюнул в огонь и подбросил в него еще небольшую охапку хвороста. И вдруг он вспомнил, что у него чай в котелке кипит, а он совсем и забыл про него.

— Тьфу, пропасть, что за оказия! Поди, весь выкипел? Так и есть, не больше половины осталось…

Данила достал из котомки жестяную кружечку, зачерпнул ею из котелка бурой жижицы с плавающими по ней каплями жира и стал прихлебывать, фыркая и обжигаясь.

А темнота кругом сгущалась все больше и больше, все словно почернело: и это небо, со сгустившимися на нем совсем черными тучами, из которых накрапывал уже довольно крупный дождик, и эта дорога, лес. И только ярким, светлым пятном выделялся среди густой мглы огонек костра.

А Данила дохлебывал уже третью кружку и в ус не дул, что дождь все усиливается и усиливается. Он знал, что выбрал себе такую позицию, на которой его не только что не промочит до нитки, а останется, он сухохонек под густо сросшимися ветвями огромной ели, которые образовали над ним целый свод, вроде крыши. Дымок от костра, пробиваясь сквозь эти ветки, застревал между хвоями и не пропускал сквозь них ни капли дождя — штука, прекрасно известная всем сибирским беглым.

И вот сидит себе он, покуривая свою носогрейку, точно в теплой, сухой избе, а сверху над его головой и по сторонам дождь льет потоками.

Идти дальше в такую ночь Даниле и в голову не приходило. Да и куда пойдешь, когда в трех шагах зги не видно; когда, то и дело, рискуешь попасть в трясину, в которую и уйдешь по пояс, а то и по уши. Дальше идти — смерть верная, даже иной раз и для людей, исколесивших всю тайгу во всех направлениях, ну, а Данила был в этих местах еще впервые. Приходилось заночевать, а завтра, так на рассвете, тронуться опять в дальний, тяжелый путь.

Однако, и ночь провести в этой трущобе тоже не совсем безопасно. Во-первых — волки. Их чертова пропасть шляется здесь по тайге. Положим, у Данилы за голенищем был хороший, широкий и острый нож, который, при случае, он сумел бы пустить в дело. Но, ведь, это только тогда, когда пришлось бы иметь дело с одним, много двумя волками. Ну, а если их целая стая?

Но было здесь и еще кое-что, куда похуже волков; было что-то такое, чего все варнаки боялись пуще огня. И это что-то — буряты, охотники за двуногой дичью. Немало слыхал Данила о них еще в остроге; слыхал, как все товарищи его ругали, на чем свет стоит, проклинали этих «скуластых, узкоглазых дьяволов». Вооруженный винтовкою, из которой он никогда не дает промаха, и широким ножом в ножнах у пояса, «узкоглазый дьявол», как тень, носится там и сям по тайге, выслеживая бродяжек. Из-за какого-нибудь старого кафтанишка, заплатанного, дырявого, которому красная цена гривенник, или из-за старых, рваных ичигов[1], бурят безжалостно убивает бродягу, пуская в него предательски пулю в затылок; снимает с него все, что только снять можно, хотя бы это были одни грязные тряпки, и отправляется на дальнейшие поиски за двуногою дичью. А труп на завтра же бесследно исчезает, его подбирают волки.

Данила, по правде сказать, побаивался маленько этих «узкоглазых дьяволов». Да и как не побаиваться! Ведь, он, подлец, никогда не нападет прямо, тогда бы Данила сумел показать себя, а возьмет да из-за угла, куста или дерева, пустит тебе пулю в сердце или затылок, и поминай как звали! А Данила хорошо понимал, что представлял для бурята довольно ценную дичь, за которою стоило поохотиться. Во-первых, на нем кафтан, хотя и старый, но еще довольно порядочный. Ичиги тоже почти совсем новые; за голенищем — хороший нож, котелок в котомке, а все это такие вещи, из-за которых бурят не пожалеет ни пуль, ни пороху. Да ему, подлецу, впрочем, один только заряд и нужен!

«Ну, да, авось, Бог милостив! Не повстречаюсь с этим дьяволом узкоглазым» — думал Данила, подбрасывая еще в костер хворосту.

За эти четыре дня утомительного пути по тайге Данила, расположившись на ночлег, почти совсем не мог спать, а если и спал, то прерывистым, чутким сном…

Ему все казалось: а вдруг, да… Он далеко не был трусом, но возможность внезапной смерти из-за угла смущала его. Прощай тогда все: и жена, и дети!

Но Данила недолго задавался такими мрачными мыслями. Костер пылал ярко и весело, а живительная теплота охватывала все тело; легче становилось. на сердце, и Данила не то замечтался, не то задремал маленько…

И вдруг опять увидал он да, ведь, так живо, ярко, отчетливо свое родное село!.. Вон церковь, старинная, деревянная, на пригорке, с оградой, густо заросшей березами, липами… Из-за деревьев выглядывает колокольня с потускневшим крестом и с крышей, густо поросшей мхом. Старая, говорят, эта церковь, очень старая. Даже батюшка, о. Иннокентий, не может сказать с достоверностью кем, когда и при каком царе она построена. Только один дедушка Еремей,

старик ветхий-преветхий, который насчитывал себе чуть ли не 120 лет, говорил, что построена она еще при Иване Грозном.

А вон и речка, в которой когда-то водились щуки, пуда по полтора, по два весом, но потом эти щуки куда-то исчезли и заменились вершковыми ершиками и окуньками… А вон и водяная мельница Ефима Степаныча, державшего в кулаке три волости… А, вон, и его изба… овин… баня…

Господи, Боже мой!.. Сердце, как птица в клетке, бьется в груди у Данилы, и он прибавляет шагу… Навстречу ему попадаются мужики, бабы… Но это все какие-то незнакомые люди, он раньше никогда не знавал их… Или, может, не из их села? Они с удивлением оглядывают этого рослого человека, с головы до ног забрызганного грязью, с длинной, растрепанной бородою, с толстой палкой в руке и с котомкою за плечами, и оглядывают, как Даниле кажется, подозрительно… Но Данила спокоен. В котомке у него паспорт на имя такого-то мещанина, такого-то города, паспорт, как есть совсем настоящий, с печатью. Не даром Данила отдал четыре целковых за эту бумажку, все деньги, скопленные им на каторге по грошикам, по копеечкам… И он спокоен: чужие к нему не могут придраться, ну, а свои… свои — те не выдадут, разумеется…

Да он и не рассчитывает долго оставаться в родном селе. Только забрать бы там кое-какой скарбишка (ведь, осталось того сего после него не мало, не все же прожили), жену и детей и гайда на юг, в другую губернию, где жить безопаснее и где сумеет он прокормить семью… Слава Те, Господи, руки еще ничего, кажись, не забыли, как надо действовать молотом и молотком, как действовать клещами… И Данила все прибавляет и прибавляет шагу…

А вот он прошел и околицу… Но что за чудо: ни одной души не попадается больше ему навстречу, даже ни одной собаки не видно… Идет он мимо избы Семена Рыжаго, изба все такая же, нисколько не изменилась за эти годы, поглядывает на окна — ни души нигде! Кругом тишина такая, словно все умерли…

«Да что же это такое? — думает уже чуть не с отчаянием Данила. — Куда они это запропастились все?..

А вон и его изба… Крылечко… Он подымается по ступенькам… Никто не выходит к нему навстречу…

— Ани-исья! — громко кричит Данила и… просыпается

Костер почти догорел. Только местами еще тлели и вспыхивали отдельные веточки… Все так же лил проливной дождь, и под Данилою натекла уже порядочная лужа… Но он почти не замечал этого, ему было не привыкать стать… И все так же глухо гудел ветер в лесу. Кругом было темно, точно в яме…

— Так это заснул я, значит! — говорил Данила, подбрасывая в огонь последний остаток хворосту. — Это мне, значит, во сне приснилось? Ну, и сон же! К добру ли он?.. — И сердце у него как-то тревожно ёкнуло. — Анисью, никак, я кликал? Да, да, Анисью, помню… С этим я и проснулся…

«И как-то живет теперь она, моя бедная? — думал он. — В нужде, ведь, поди, с ребятишками-то, живет!.. Голодает и холодает… Господи!..»

Из глаз Данилы вдруг что-то выкатилось, протекло по смуглым, осунувшимся щекам и застряло в давно нечесаной бороде.

«Ведь, чем им жить-то? земля? ну, какая у нас там земля была! Почитай, что ровно ничего! Хлеба на год не доставало, прикупал все… Поди, в работницах где живет… Может быть, у о. Иннокентия… Он батька добрый, он не обидит; и попадья тоже добрая… Скупеньки только они… Кормить плохо, пожалуй, Анисью будут… Не доедает, не допивает, бедная!..»

«А ребятишки-то где? — вдруг, как ножом, бьет в сердце Данилу. — Да неужто же они на спичечной фабрике?.. Царица небесная… Матушка… сохрани и помилуй!.. — И Данила перекрестился дрожащей рукою. — Да лучше живыми я их согласен в сырую землю зарыть, чем на фабрику эту проклятую!..»

И чем больше думал Данила, тем все более и более убеждался, что Анисья у батюшки, о. Иннокентия, в работницах, и, разумеется, не доедает, не допивает; а ребятишки: Гришутка, Сенюшка, Даша — на спичечной фабрике… Господи, сохрани и помилуй!..

II.

Баламайка в своем улусе не пользовался особенным уважением. Напротив, все его соседи, бурята, относились к нему чуть не с презрением. Это был небольшой, сухенький человечек, лет уж под 50, но такой живой, юркий, проворный, что в иных случаях и молодого мог бы заткнуть за пояс.

Характер у Баламайки был самый скверный. Наянлив он был до крайности. Все чего-нибудь у кого-нибудь просит: то хлебца, то рыбки, то чайку хоть сколько-нибудь кирпичного. И все это он обещает отдать в самом непродолжительном времени, вот только делишки у него немного поправятся, и, разумеется, не отдает. И все это знают, но, тем не менее, дают Баламайке иной раз чего-нибудь, чтоб только от него отвязаться; но чаще всего, впрочем, гоняют в шею, на что Баламайка тоже нисколько не обижается, привык уж к этому.

Чем и как живет Баламайка — это ему только, кажется, одному известно. Но живет все-таки да не только живет, а еще, говорят, и деньжонки копит. Поговаривали в улусе, что у него целый медный котелок с серебряной и даже золотою монетой зарыт в лесу где-то, и нередко подтрунивают по этому поводу. Но Баламайка только фыркает, точно кошка, которую дернули вдруг за хвост, да пощипывает жиденькую, седую бородку, торчащую у него на подбородке, вроде пучочка мха.

Зимней избы, на манер русских изб, как у других бурят, у Баламайки никогда не бывало, и он круглый год живет в летней юрте, где, разумеется, страшно мерзнет. И не один живет он, — с женой-старухой, с которой никогда не разговаривает, не обращает на нее даже никакого внимания, точно ее и нет в юрте. Старуха, вечно голодная, как собака, тоже молчит и только изредка разве обругает своего супруга шайтаном[2].

На общественных праздниках, которых у бурят не мало, Баламайка всегда сумеет втереться и поесть и попить за троих. Особенно много перепадает ему на празднике *Улан-Ундылан* (что по-русски значит красное яйцо). Этот праздник нередко совпадает с русскою Пасхой, а потому в нем принимают участие и русские. Таким образом, Баламайка и от бурят, и от русских сумеет урвать кусочек.

Или опять, например, на *тайлагане*, летнем празднике, устраиваемом бурятами вскладчину, при чем богатый платит вдвое и втрое больше других, а бедный иной раз и ничего, при чем, тем не менее, все пользуются одинаковыми правами относительно еды и питья, и едят и пьют все, сколько влезет, да, кроме того, еще и домой уносят.

На тайлаганах Баламайке лафа. Вносить в складчину он, разумеется, никогда ничего не вносит, но, тем не менее, обжирается до отвала бараниной и говядиной и упивается тарасуном[3] и кирпичным чаем. Баламайка на тайлагане отъедается чуть не за целый год, наверстывает свои постоянные голодовки. С этого праздника он иногда удостаивает и старухе своей принести кусочек чего-нибудь. Та, бедная, сама на нем не может присутствовать, так как лет десять уже почти не владеет ногами.

А чем занимается Баламайка? Да ничем решительно. Соседи его — охотники. Они промышляют белку, лисицу, соболя; занимаются рыбной ловлей, кузнечным промыслом. Баламайка же только лодырничает, хотя из него мог бы выйти хороший кузнец и еще лучший охотник. Глаз у него верный, и он стреляет из своей винтовки без промаха. Да, впрочем, и все буряты — стрелки отличные, и когда, например, бьют белку, то крошечной пулькою попадают ей непременно в рот, чтоб не испортить шкурки.

Итак Баламайка ничем решительно не занимается. Впрочем, осенью иной раз, захватив винтовку (причем ни пороху, ни свинцу он никогда не покупает, а выклянчивает, обыкновенно, у тех же соседей), он пропадает куда-то надолго, потом опять возвращается. И никто не спрашивает его, где он был, — все знают, что это он на двуногую дичь охотился. И это был единственный промысел, которым иной раз он занимался, да и то не каждую осень, слишком уж ленив был.

В эту осень Баламайка тоже отправился. Сборы, как и всегда, были недолгие. Осмотрел винтовку, сунул в мешок, привешенный к поясу под халатом, зарядов пять-шесть пороху и немного свинцу, десятка, два-три сухарей и небольшой запас арсы[4], кушанья, без которого ни один бурят, кажется, дня обойтись не может, и, предоставив своей голодной старухе питаться и как и чем ей заблагорассудится, направился в знакомую ему, как своя юрта, тайгу.

Дня два бродил он по ней, оглядывая своими рысьими глазками раскидывающееся перед ним необозримое пространство лесов и болот; бродил он и днем, и ночью. Ночью, когда ничего уж, кажется, невозможно было различить во мраке, Баламайка отлично видел. Рысьи глаза были у старикашки! Но никого нигде. Быстро пробежит волк, еще быстрее лисица, провалит с шумом и треском медведь. Но Баламайка и не думал стрелять в них. Поджидал он двуногой дичи, а вот ее-то и не было. Всегда голодный и страшно прожорливый, Баламайка давно уж съел и все сухари, и всю арсу и больше у него решительно ничего не оставалось съестного. Пришлось, скрепя сердце, истратить три-четыре заряда на зайцев, которых он съел чуть не сырыми, так только для виду больше подержав их с полчасика на огне. И остался у Баламайки только один заряд. Дело было не совсем ладное. Положим, он мог и другим манером действовать: перехватить ножом горло уснувшему у костра бродяге. Но это было довольно рискованно. На какого, ведь, навернешься тоже? А вдруг проснется да самого тебя саданет ножом?

И вот, вдруг на третий день, Баламайка выследил да, ведь, какую дичину!.. Кафтан почти совсем новый — бумажку дадут рублевую, это как пить дать. Ичиги — еще того лучше, и котелок, фунтов так в десять, в котомке. Баламайка только облизывался. Но тут явилось вдруг нечто, наводящее на размышления. Дичина была таких размеров, что свободно могла бы посадить к себе на ладонь Баламайку, а другою прихлопнуть, и только мокренько стало бы. Значит, к такому к сонному и не подступай с ножом, нечего о том и думать. Пулю пустить в затылок, чего бы вернее, кажется? Так нет, есть и тут «задача». У Балалайки был только один заряд, а руки у него в эти дни, черт знает, с чего их там, дрожали сильно. А промахнется? Пиши: пропало! Быстро бегал Баламайка на своих тонких сухих ногах, да удастся ли ему уйти тогда от такого медведя? Медведь, хоть и неуклюж и неповоротлив, а посмотрели бы вы, как он бегает! И Баламайка только облизывался да почесывался. Вот уж вторые сутки он неотступно шел за Данилой, держась, разумеется, на таком расстоянии и в таких пунктах, что тот и

подозревать не мог о его присутствии. Не раз, когда усталый Данила присаживался где-нибудь на кочку, Баламайка прикладывал свою винтовку, целился долго-долго, но эти проклятые руки, черт их побери совсем, дрожали как будто еще сильнее, и он с ругательствами и проклятиями, русскими и бурятскими, опять опускал ружье. А отдохнувший Данила вставал и шел дальше. Баламайка только ругался да скрипел зубами, но ни на шаг не отставал от намеченной им дичины, которую он решил, во что бы ни стало, заполучить. Авось либо, шайтан поможет!..

Сегодня Баламайка весь день решительно ничего не ел и у него так сосало под ложечкой, что он только сплевывал. Он тщательно вывороти мешок у пояса, где у него хранились табак с трубкою, кремень, огниво, а также и съестные припасы, вытряс оттуда на ладонь последние крошки от сухарей и от арсы, — и это все. Черт побери совсем! И никакой дичи! Да если б и увидал он ее, чем бы подстрелил, спрашивается, когда у него один заряд всего на всего? Нет, надо уж подождать как-нибудь, потерпеть… А этот подлец-варнак, как на зло, жрет каждый день раза по три. И чего-чего нет у него там в котомке! И хлеб, и рыба, и лук, и даже, шутка сказать, чай кирпичный! Смотри вот тут издали, как он ест и пьет, да только облизывайся! Нет, надо с ним поскорей покончить, а то, ведь, того и гляди, сам с голоду здесь подохнешь, в тайге-то!..

Вчера ночью Баламайка опять подкрадывался к Даниле и подошел так шагов на двести. На таком расстоянии его винтовка хватала. Данила лежал у костра, прихлебывал чай из кружки и курил трубку. И опять Баламайка не раз прицеливался, и опять по-прежнему руки у него ходуном ходили, впрочем, теперь поменьше.

И вдруг Данила повернул голову и стал пристально вглядываться в темноту, как раз в том направлении, где стоял бурят. Баламайка едва успел скрыться за деревом и только заскрипел зубами…

А голод все больше и больше донимал его. Просто хоть кору сдирай с дерева да грызи! И ягод, как назло, никаких нет, тех бы поел, что ли…

— Сегодня же ночью его ухлопаю!.. — решает озлобленный до-нельзя старикашка.

И Баламайка дождался ночи… Такая же темная, мрачная спустилась она над тайгой. Так же плыли по небу густые, темные тучи, гонимые ветром, и так же накрапывал из них дождь…

Данила сладко так задремал у костра и думал в полудремоте, что уж теперь, слава Богу, все меньше осталось идти-то… Далеко еще, правда, ох, далеко как, — всего тысячи две с половиною верст, пожалуй, ну, да никто, как Бог, дойдет как-нибудь, доплетется… Ах, Господи, поскорей бы только! Ведь, сердце все изныло да изболело!..

Костер вдруг затрещал, зашипел, должно быть, струя дождевой воды в него брызнула. Данила поправил его, закурил трубку.

«Да, месяца два придется еще идти! — думал он и глубоко вздохнул. — А то, пожалуй, и все три придется… Скверно!.. Денег ни гроша нет… с деньгами-то куда скорее бы… Останавливаться теперь в деревнях да что-нибудь зарабатывать, — время опять… Эх, как ни думай…»

Трубка вдруг выпала изо рта Данилы, и сам он упал лицом прямо в лужу… Баламайка не промахнулся. Кусочек свинца, сжеванный им в пульку, пробил у Данилы череп и застрял в мозгу…

Но Баламайка не сразу решился подойти к убитому. А вдруг жив еще?.. Данила, не шевелился. С ножом в руке подошел старый бурят к трупу, наклонился над ним — не дышит. Он весело

засмеялся. Первым делом набросился он на котомку, пошарил в ней и вытащил чуть ли не полковриги хлеба… Жадно, как голодный волк, — да разве он и не был волком? — запустил он в нее свои черные, крепкие еще зубы. Не прошло и десяти минут, и весь хлеб был сожран. Заморив червячка, принялся он обирать убитого и обобрал самым добросовестным образом: даже грязных-прегрязных, прогнивших совсем портянок — и тех не бросил. Сделавши свое дело, подобрав все имущество и связав его в узел, Баламайка взвалил этот узел себе на спину и, напевая какую-то песенку, весело тронулся в обратный путь…

А дождь все накрапывал да накрапывал; ветер жалобно завывал в лесу; а там, вдали где-то вторил ему сперва глухо, неясно как-то, а потом все ясней и ясней какой-то другой вой, вероятно, волчий…

Настасья Петровна

С миру по нитке — голому рубашка.

То, что я хочу рассказать вам — не выдумка, а истинная правда, быль, и случилось это лет двадцать, тому назад.

В большом, но небогатом селе одной из наших поволжских губерний жила некая Настасья Петровна Молвитинова. Это была старушка лет 65, довольно высокого роста, худая и слегка сгорбленная, но еще бодрая и крайне живая и подвижная: она ни минуты, бывало, не посидит на месте, все хлопочет и суетится, делает что-нибудь.

Настастья Петровна отличалась замечательно крепким здоровьем и удивлялась даже, как это другие хворают.

— А я так отродясь не знала никакой болезни, — говорила она. — Разве когда еще была в пеленках…

Настасья Петровна была дворянка, дочь небогатого помещика, жила в такой же избе, как и ее соседи, только внутри изба была устроена на городской манер и состояла из двух комнат с кухнею. Стены были оклеены дешевенькими обоями, и на них висели картины в рамках и фотографии. Чистенькие и светлые комнатки с крашеными полами меблированы были стульями и диванчиками, а широкие подоконники (шире, чем в прочих крестьянских избах) были уставлены множеством горшков с цветами. Цветы Настасья Петровна очень любила и заботливо за ними ухаживала. Зато и цвели же они на славу! Цветочки, известно, ведь, любят тех, кто их самих любит.

Был при избе и небольшой огородик: пять-шесть грядок с капустой, редькой, морковью. Между грядками цвел пестрый махровый мак. И в огородике тоже любила копаться Настасья Петровна: полола, сеяла, вскапывала и поливала грядки. Прислуги она никакой не держала, все по хозяйству делала самолично, даже полы мыла.

И не по средствам ей было держать прислугу. Жила Настасья Петровна очень и очень даже скромненько, чтобы не сказать бедненько. Пахотной земли у нее не было, и она покупала хлеб у своих соседей-крестьян, 30 или 40 десятин, оставшиеся ей после отца, были давным-давно уже проданы, а вырученные за них деньги пошли на уплату долгов того же отца, который, по правде сказать, кроме долгов, ничего ей и не оставил. Жила Настасья Петровна только крошечной пенсией, которую она получала от какого-то дальнего родственника, друга ее отца, да тем, что давал ей ее крошечный огородик. Кормилась она ничуть не лучше своих соседей, а то и хуже еще, пожалуй. Да и, верно, хуже. У тех хоть молоко было, сметана, творог, масло,

яйца, а Настасья Петровна даже кур не держала. Не то, чтобы это ей не по средствам было: дорого ли стоит завести и содержать кур? Пустяки, конечно. А просто она не любила возиться с ними. Корова… корова вот составляла давнишнюю мечту Настасьи Петровны, которую она долго, долго не могла осуществить. Но, наконец, осуществила-таки: корова явилась. Да, впрочем, мало ли что явилось потом у Настасьи Петровны! Явилась и лошадь; огородик ее превратился в большой огород; явилось… но, впрочем, об этом дальше.

Когда и каким образом явилась у Настасьи Петровны эта мысль, она и сама не могла дать отчета. Не то еще прежде когда-то, в молодости, мелькало в ее голове нечто подобное, но потом как-то забылось, не то приснился ей сон, похожий на откровение. Но только раз как-то, в одно прекрасное зимнее утро явилась она к священнику их села, о. Алексею, и очень сперва удивила его, а потом привела в крайнее умиление одною мыслью… А мысль ее заключалась в следующем.

Много на свете бедных, много несчастных сирот, без отца, без матери, без всяких, и близких и дальних, родственников; много больных, убогих, неспособных решительно ни к какой работе. Правительство устраивает для этих несчастных людей приюты, школы, больницы и богадельни; устраивают все это и многие частные люди — благотворители, люди богатые. Но этих несчастных, нуждающихся в немедленной помощи, так много, что не хватает на них ни школ, ни приютов, ни больниц, ни богаделен. А это, ведь, все учреждения далеко не дешевые и если самому правительству не под силу увеличивать их число, то уж тем более не под силу это частным лицам. А все-таки в этом роде можно кое - что сделать и частным лицам…

— Да как же так можно-то, Настасья Петровна? — недоумевал старичок-священник. — Не понимаю я что-то. Ведь, сами же вы говорили…

— Да очень просто, батюшка. Слыхали вы поговорку насчет того, что если с миру по нитке, то голому рубашка выйдет?

— Как не слыхать!..

— Вот также и тут, батюшка…

И Настасья Петровна продолжала развивать свою мысль. Она говорила, что если каждый имущий и неимущий, и богатый и бедный дадут от своих избытков и недостатков хоть что-нибудь… Ну, один даст, положим, хоть сто рублей, другой — рубль, а третий только одну копейку; один даст сотню яиц, другой — десяток, а третий — только одно яичко… и т. д. и т. д., и если взять все это да сложить вместе, так это кой-что составит и на это можно сделать кое-что… не так ли?

О, Алексей не мог не согласиться, что это, конечно, так.

— Есть богадельни на сотни и чуть не тысячи человек, — продолжала Настасья Петровна, — но можно, ведь, открыть и на трех, четырех только. Школы опять, приюты, больницы.

— Все это так, Настасья Петровна, согласился о. Алексей, — но только вот в чем вопрос: будут ли помогать-то, жертвовать? Много ли таких найдется?

— А почему же нет, батюшка? Пусть всякий даст, что не жаль только: кто моток ниток, кто нитку, кто холста кусок, а кто — аршин, четверть аршина… Да, ведь, так-то всякий беднейший бедняк, всякий скряга может…

О. Алексей долго думал, соображал что-то, и затем, наконец, сказал:

— Господь да благословит вас, Настасья Петровна, за такую мысль! — И на глазах блестели слезинки. — Ведь, мысль-то самая простая, — чего проще. А точно, сделать можно кое-что, и даже, пожалуй, немало сделать!.. Ну, дай Господи, в добрый час!

Настасья Петровна немедленно же решила отправиться за пожертвованиями к соседним помещикам и на собранные с них деньги (ведь, дадут же они что-нибудь) устроить… ну, хоть школу там крошечную для трех-четырех мальчиков и девочек. А дальше, — что Бог даст.

Настасья Петровна, не откладывая дела в долгий ящик, на другой же день утром попросила у о. Алексея его каренького меренка и отправилась по соседним помещикам. Последних в их уезде проживало не мало, но только богатых не было, а все больше люди с ограниченными достатками. Но все ж она твердо верила, что они ей не откажут, помогут хоть какими-нибудь крупицами: если не деньгами, так съестными припасами, холстом, нитками да мало ли еще чем. Для бедного все годится и все можно при надобности и при случае обратить в деньги. Запаслась она несколькими кулечками и корзинками, на всякий случай, и тронулась, благословясь, в путь.

Помещики не то с недоверием, не то с каким-то недоумением выслушивали просьбу Настасьи Петровны о посильной помощи; иные пожимали плечами, другие недоверчиво улыбались.

— Да всех, ведь, бедных не одеть и не накормить, Настасья Петровна, — говорили многие из них. На это никаких средств не хватит… Не призреть и всех убогих, сирот…

— Да кто же вам говорит, что всех? Конечно, это вещь невозможная! Да хоть десяток какой-нибудь человек, и это кое-что да значит…

И просьбу ее исполняли, хотя все-таки с недоверчивыми улыбками. Деньгами ей давали мало, она собрала всего пять рублей с копейками, но давали мукой, крупой, маслом, яйцами и другими припасами; давали холстом, нитками.

— Ну, вот, пошли вам Господь! — говорила старушка, принимая посильную помощь. — Сторицею Он вам воздаст, а рука дающего не оскудевает!

На третий день Настасья Петровна возвратилась домой, и в ее кибиточке был изрядный запас провизии. И в их селе, и в соседних, лежащих кругом деревнях, немало было-таки нуждающегося люда, нищих. И вот, весть о том, что Настасья Петровна кормит и поит всех голодных, быстро разнеслась по окрестностям, и в Подберезное, — так называлось село, где жила старушка, — повалили чуть не целые толпы. И точно, никто не ушел голодным. Настасья Петровна всех, досыта накормила и напоила, а многим еще и с собой дала муки, крупы, яиц. И все были ей от души благодарны.

— Нет, не меня, не меня вы благодарите, голубчики! — говорила она. — Не мое это все. Я сама не многим богаче вас, сама терплю недостаток. А это добрые люди дали, вот их вы и благодарите…

О, Алексей в церкви, после обедни, обратился с маленькой речью к своим прихожанам и объяснил им, что задумала Настасья Петровна. Они его вполне поняли и отнеслись крайне сочувственно.

— Доброе дело, батюшка! — говорили они. — Поможем, по мере сил… И сами-то мы не богачи, знаешь ты наши достатки, да есть много и победнее нас… Известно, с миру по нитке…

И мужички давали тоже по мере возможности, и именно, как говорила Настасья Петровна: кто

яиц десяток, а кто одно, два яичка; кто ниток моток, а кто — одну пасму. Этими собранными припасами Настасья Петровна имела возможность в течение целых двух недель кормить и поить десятка полтора-два нищих.

— Благослови Бог начало! — говорила она. — Ну, а там лучше будет.

И старушка начинала мечтать о том, что как бы хорошо было теперь устроить маленькую богаделенку, ну, хоть человек на десять. Да только трудно это теперь, куда как трудно! Ведь, в собственной хатке места не хватит на призреваемых, а новую построить не на что.

— Но почему же не поместить несколько человек убогих и дряхлых в моей избушке? — опять думала Настасья Петровна. — Например, в кухне? Положим, что тесновато, да все места на четверых, на пятерых хватит. — И она решила этот вопрос.

Первым поселился на печке в чистенькой и светлой кухне Настасьи Петровны дедушка Парамон, старик уже лет под 80, весь пожелтевший даже от старости и совсем слепой. Он лет десять подряд бродил ощупью, опираясь на суковатую палку, из деревни в деревню, из села в село, вымаливая себе кусок насущного хлеба и уголок для ночлега. Ему, разумеется, не отказывали. Но теперь дед чувствовал себя невыразимо счастливым, найдя постоянное пропитание и угол на теплой печке, где он мог вволю нежить свои старые кости. Старик не мог видеть Настасью Петровну, но, заслышав ее голос или походку, каждый раз всхлипывал от избытка чувств.

— Родимая ты моя! — говорил он. — Упокоила ты меня под конец жизни, хлеба кусок мне дала, угол... Награди тебя Царица Небесная!

И Настасья Петровна тоже чувствовала себя счастливою.

Затем поселились еще две старухи, тоже совсем дряхлые, Дарьюшка и Агафьюшка. Они порой брюзжали и перебранивались друг с другом из-за куска хлеба или из-за чашки чаю. Зато дедушку Парамона совсем было не видно, не слышно. Весь почти день он спал на своей печке.

Итак, на первое время Настасья Петровна поместила у себя только трех убогих. Но и с теми ей было, по правде сказать, немало хлопот. Во-первых, ей беспрестанно нужно было уговаривать и мирить двух старух, так как они вечно между собою грызлись. Затем белье. Настасья Петровна редко когда обращалась с просьбой выстирать его к какой-нибудь соседке, обыкновенно, та отговаривалась недосугом, а стирала сама. Потом починка их одеженки. Благодаря соседним помещикам, лохмотья убогих заменились, хотя и старенькою, но, все-таки, целой одеждой. Не мало труда стоило следить и за опрятностью призреваемых: они все были ужасно нечистоплотны, неряшливы.

Настасья Петровна всею душою отдалась своей скромной, но благородной деятельности и не знала весь день покоя. Но старушка была настолько живая и подвижная, что это нисколько не стесняло ее. Вставала она в четыре часа утра, топила печку и тотчас же принималась стряпать, конечно, очень скромный и незатейливый, но зато обильный и сытный обед для бедных. В десятом часу к ней в кухню шли нищие с чашками и горшками. Начиналось кормление и продолжалось весь день до вечера.

Толпа сменялась толпою и в голодных, никогда недостатка не было. Попадались иной раз между ними и не голодные, а только охотники на чужой счет поесть, но таких, по правде сказать, немного было.

Только часам к восьми вечера, но никак не раньше, опорожнялся у Настасьи Петровны

последний котел щей или гороху и последний горшок каши, и старушка принималась за стирку и починку белья и платья, а также отдавала часок — другой и своим цветочкам.

И так изо дня в день шла жизнь этой доброй женщины. Бедный и убогий благословляли ее, а она чувствовала себя совершенно довольной и счастливой и мечтала о том, как расширить еще более свою деятельность; мечтала она, между прочим, и о больнице, хоть самой крошечной, рассчитывая, что их земский врач, ИванъАндреич, человек очень добрый, хороший, согласится бесплатно лечить больных. Но для постройки избы для больницы и покупки необходимых больничных принадлежностей нужны были деньги, а их-то как раз у Настасьи Петровны не доставало. Деньгами ей очень мало давали, — натурой больше. Положим, у нее иной раз скоплялись остатки от разной провизии, и она продавала их. В течение полугода скопила она, таким образом, рублей десять. Но это была слишком ничтожная сумма. Раза два в месяц Настасья Петровна выпрашивала у о. Алексея или у кого-нибудь из крестьян лошадку и отправлялась за сбором. И ей давали и давали теперь уже без всяких улыбок недоверия: все ясно видели, что ее деятельность далеко не бесплодна, а приносит пользу и даже пользу не малую.

— И одного голодного накормить уже кое-что значит, — говорил один из соседних помещиков, стариков, — а она их вон целыми десятками кормит! Да и убогих трех содержит. Дай, Господи, ей здоровья да сил, главное, сил побольше! Уж больно много она этих сил тратит, а годы не молодые!

Прошло два года; доброе предприятие Настасьи Петровны расширилось еще более. Слухи о нем разнеслись по другим уездам губернии, и пожертвования, хотя и не крупные, — по мере сил и возможности, — стекались к ней отовсюду. Деньгами по-прежнему жертвовали немного, но зато не было недостатка в разных съестных припасах, белье и обуви. Иной раз их скоплялось так много, что Настасья Петровна большую часть их превращала в деньги. Теперь она имела уже возможность держать прислугу и нанимала работника и работницу. Завела она и очень хорошую корову, и лошадку, которая была ей положительно необходима для поездок за сборами; завела кур и несколько штук свиней. Крошечный огородик с пятью-шестью грядками превратился теперь в большой огород, и Настасья Петровна немало снимала с него огурцов, капусты, моркови, луку и др. овощей. Но только теперь хозяйничал в нем работник Трифон, исправлявший вместе с тем и должность кучера.

Осуществилась ее мечта и насчет маленькой школки. Настасья Петровна вынесла из одной комнаты, служившей для нее зальцем, стулья, диван, ломберный стол, и заменила их тремя партами. Теперь у нее училось десять детей: шесть мальчиков и четыре девочки. Самой учить ребятишек грамоте Настасье Петровне было положительно некогда, да она и не считала себя способной к этому. Нанять учителя или учительницу — не позволяли средства. И вот, заниматься с детьми взялась бесплатно учительница из земской школы, которая и посвящала им два-три часа свободного времени по вечерам. В воскресные и праздничные дни устраивались иной раз чтения, — и тогда в комнате, служившей классной, собиралось немало слушателей и слушательниц. Тут были не одни дети, не мало было и взрослых; иной раз приплетались даже старики и старушки. Учительница, Марья Павловна, очень хорошо читала, ее слушали все с удовольствием и были от души благодарны.

В кухоньке, заменяющей богадельню, по-прежнему помещались трое — все те же: дедушка Парамон да Агафьюшка с Дарьюшкой. Просились было в эту кухоньку-богадельню еще несколько человек убогих и престарелых, — ведь мало ли было таких по окружным деревням и селам, — да тесновато уж было и Настасье Петровне пришлось, скрепя сердце, отказать им.

Прошел еще год; Настасья Петровна нашла возможным на скопленные от пожертвований

деньжонки построить крошечную избушку.

Избушка была, точно, крошечная и состояла из двух каких-то каморок, по одному окну в каждой. Но все же в этих коморках можно было поставить по две кровати. И вот, явилось, таким образом, нечто вроде больницы для четырех человек. Лечить больных, разумеется, тоже бесплатно, взялся их земский врач, Иван Андреич, а Настасья Петровна кое-как покупала из своих скудных средств необходимейшие лекарства и разные больничные принадлежности. Нашла она и сиделку. Многого, положим, недоставало, даже очень многого, часто самого необходимого. Но что ж было делать? По одежке надо было протягивать ножки, и Настасья Петровна утешала себя той мыслью, что лучше мало, чем ничего… Но желаниям человеческим нет пределов, и она частенько мечтала, что хорошо было бы все это расширить да увеличить, да еще завести кое-что. Вот, например, ей очень хотелось, кроме грамоты, обучать ребятишек еще какому-нибудь ремеслу, например, слесарному.

— Слесарное дело прибыльное, — говорила она, — везде может дать порядочный заработок…

Все это так, но опять-таки для этого не хватало средств. Надо было завести отдельное помещение для мастерской, нанять слесаря, купить необходимые инструменты. И Настасье Петровне пришлось отложить эту мысль до будущего: что Господь даст!..

Плодотворная и полезная деятельность Настасьи Петровны продолжалась в течение пяти лет, с 1884 по 1888 год. Много тысяч голодного люда накормила она за это время; многих одела, обула, обучила грамоте, ремеслу. В 1886 г. ее последняя заветная мысль осуществилась-таки: Настасья Петровна построила небольшую слесарную мастерскую, купила нужные инструменты и наняла учителя-слесаря. И вот благодаря ей, человек 20 мальчиков из Подберезного и из других деревень обучились полезному и небезвыгодному ремеслу и, конечно, всю жизнь будут помнить, и благодарить старушку.

Положим, Настасья Петровна в этой полезной и плодотворной деятельности являлась, так сказать, только распорядительницей. Она отдала ей все свои силы, даже, если хотите, жизнь и умерла «на своем посту», при исполнении принятых на себя обязанностей. Средства давали ей добрые люди, которые всегда на свете найдутся и в которых Настасья Петровна всю жизнь свою горячо верила, иной раз почти такие же бедняки, как она сама.

И до сих пор, конечно, продолжалась бы еще эта деятельность Настасьи Петровны и, разумеется, увеличилась бы еще более, если б не случилось несчастья, которое погубило все.

Ранней весною Настасья Петровна в своей кибиточке переезжала через реку, покрытую еще льдом, но уж довольно тонким, и вдруг попала в зажору[5]. Старушка ехала за своим обычным сбором к соседним помещикам.

Произошло это ночью, а ночь была очень холодная; Настасья Петровна, промокшая до нитки, схватила простуду. У нее открылось сильное воспаление легких, и она, прохворав неделю у одной вдовы-помещицы, умерла. Старушка не боялась нисколько смерти. Она горевала, и страшно горевала об одном только, что дело ее в конец распадется, как только ее не станет. Приводим ее подлинное письмо к врачу Ивану Андреевичу. Из письма этого многое можно видеть.

«Дорогой мой Иван Андреевич!

«Я простудилась сильно и умираю у нашей благодетельницы, Авдотьи Степановны Прониной, которая не мало-таки уделяла из своих довольно скудных достатков на моих бедных и которую,

вероятно, вы лично знаете. У меня воспаление легких, и дни мои, а может, даже и часы, сочтены. Голубчик мой, я не страшусь смерти, слава Богу, уж пожила порядком. Но откровенно признаюсь вам: мне не хотелось бы умирать, хотелось бы еще пожить… *для других*. И днем и ночью, меня мучит мысль, что когда я умру, — *все пропадет!..* Господи!.. Куда же денутся мои старички и старушки в кухне?.. Кто будет кормить голодных, учить грамоте и ремеслу ребяток?.. Найдется ли такой человек, который бы стал продолжать мое дело, во имя Божие? Вряд ли! У всякого, ведь, свои заботы, своя семья, свои близкие… А я с малых лет была круглою сиротой. Кого ж мне и любить было, о ком заботиться?.. Кровью, ведь, сердце-то обливается, при одной только мысли!.. Ах, дорогой мой, если б вы могли только…»

Но о чем хотела просить Настасья Петровна доктора, что хотела сказать ему, так и осталось неизвестным. На этом месте письмо прервано. Очевидно, Настасья Петровна так ослабела, что больше не могла писать…

Похоронили Настасью Петровну, разумеется, в Подберезном, и гроб ее сопровождала тысячная толпа. Много было искренних слез и горя… Да и еще бы!.. Похоронили ее близ самой церкви, в тени двух густых, развесистых лип. Над могилой ее стоит простой деревянный крест, а на нем жестяная дощечка с надписью:

Настасья Петровна Молвитинова.

Родилась 17 января 1815 года.

Скончалась 5 марта 1888 года.

Упокой, Господи, ее душу!

Настасья Петровна создала себе крепкую и, дай Бог, *вечную* память не только во всем уезде, а пожалуй, и во всей губернии, и нет человека, который бы, проходя мимо ее могилки, не снял бы шапки и набожно не помолился, вспоминая покойную добрым словом.

Отец Алексей. (Рассказ)

Настал конец обедни. В маленькой церкви села Песчанки толпился народ и горячо молился, кладя земные поклоны. Церковь была очень стара и ветха. Своды ее местами покривились, покосились. Кое-где осыпалась штукатурка; в куполе были трещины. Позолота на царских вратах давным-давно уже выцвела, полиняла, темные лики икон смотрели со стен какими-то пятнами… Зато эту церковь построил еще Иван Грозный и предъявил в нее синодик о вечном помине душ казненных бояр и простых людей. Синодик гласил: «помяни, Господи, души усопших рабов твоих, имена же их Ты веси!» И с этих пор иконы в церкви оставались еще прежние. Немудрено, что они так выцвели, потемнели. Исправления церкви, конечно, были, но очень редко. Последние двадцать лет, например, церковь ни разу не поправлялась. Преосвященный Серапион, большой любитель всего старинного и, в особенности, икон, проезжая раз по епархии, заехал в Песчанку. Он осмотрел очень подробно церковь и приказал: «трещины и щели замазать, исправить своды, но ни к иконам, ни к утвари не прикасаться, сохрани Бог! — И вот о. Алексей выполнял св. причастие в той же чаше, в какой выносили его еще при Иване Грозном и употреблял ту же дарохранильницу, тот же дискос.

Итак, обедня подходила к концу. Народ горячо молился.

Бледные, истомленные лица крестьян и крестьянок, их ветхие, заплатанные кафтанишки и сарафаны так и бросались в глаза. Должно быть, в Песчанке жилось всем куда как плохо!..

Один только высокий, плотный мужик, с красным липом и широкой окладистой бородой, дышал полным благополучием и здоровьем. На нем был кафтан из тонкого дорогого сукна; высокие сапоги «бутылками» лоснились и блестели; по толстому животу вилась золотая цепочка. Это был первый богач в округе — Мирон Данилыч Морозов. Он содержал в Песчанке два кабака и три мельницы. Одну, впрочем, в самом селе, а две других — в соседней с ним деревушке, Ивановке. Мирон Данилыч влез чуть не на самый амвон и тоже усердно молился, широко размахивая рукою и прикасаясь пальцами к полу.

Обедня кончилась, и Мирон Данилыч подошел к священнику.

Отец Алексей был высокий, худощавый старик, лет 60, с длинною, узкою бородою. Тридцать пять лет уже служил он в Песчановской церкви, но до сих пор никто никогда не видал на его кротком, добродушном лице признака гнева или досады. Нет, оно вечно было тихо, спокойно. Так же спокойно и тихо глядели его темно-серые, глубоко запавшие большие глаза.

— Благословите, батюшка, — проговорил кабатчик.

Отец Алексей перекрестил его, но рука у него почему-то заметно дрожала.

— Не удостоите ли ко мне завернуть, чайку напиться да пирожка с сижком свежепросольным отведать? Сегодня хозяйка пекла…

— Благодарю вас, Мирон Данилыч. Но только сегодня никак нельзя: жду там кое-кого из города…

— Да, что вы батюшка! — обиделся вдруг кабатчик. — И в прошлое воскресенье вас приглашал, и тоже сказали, что ждете кого-то, а никто не был… Вот и сегодня. Что ж, брезгаете вы что-ль моим хлебом-солью?..

— Помилуйте, что вы, Мирон Данилыч! — замялся священник. — Но только сегодня, видите…

— Ну, как угодно-с! — и заметно обидевшийся Мирон Данилыч, сухо раскланявшись, пошел вон из церкви.

Отец Алексей вздохнул только и тоже вышел в ограду.

Его там ждали человек двадцать крестьян.

Проследив робко за удалявшимся Мироном Данилычем, они вдруг все, как один человек, упали на колени перед священником. Тот отступил.

— Господь с вами, братцы!.. Что вы!.. В чем дело?.. — говорил он.

— Отец Алексей!.. Батюшка!.. — заголосил, точно баба, какой-то худенький мужичок. — Будь ты заступником-покровителем!.. Заставь вечно Бога молить! — И он обнял колени священника. Тот смутился.

— Да в чем дело, Захарыч? Встань!

— Не встану, батюшка!..

— Встань, говорят тебе!

Захарыч встал. За ним медленно поднялись и прочие.

— Ну, в чем дело, братцы? Обидел вас, что ли, кто?

— Обидел… Ох, как обидел!.. — послышались голоса. — Мирошка обидел!.. Что же это будет… Господи!.. Во как, батюшка! В петлю, так в ту же пору!.. — И Захарыч провел рукою по шее. — Последнее отнимает, — хошь помирай!..

— Коровка теперь одна… Самим молочишко-то нужно, — ребята… А он: давай, говорит, корову!..

— Кобылку-то мою берет… Пегашку-то!..

— Да в чем дело, братцы? Должны вы, что ли, ему?

— Должны, кормилец, должны… Еще с прошлого года… Да разве не помнишь ты? — И крестьяне вдруг загалдели.

— Постойте, братцы! Один говори кто-нибудь… Ну, вот, хоть ты, Семен!

И Семен начал рассказывать. Отец Алексей, впрочем, и сам припомнил. Дело было простое, обыкновенное. В прошлом году многие из крестьян взяли у Мирона Данилыча денег на семена: кто 10, кто 20 рублей, всего рублей 800–900 и обязались на будущий год возвратить долг с благодарностью и с уплатою десяти процентов. «А буде не возвратим (как значилось в их условии), повинны мы отвечать всем нашим имуществом и достоянием». Знай отец Алексей о подобном условии, он, может, сумел бы отговорить крестьян надевать себе такую петлю на шею. Но он узнал о нем только тогда, когда оно было уже подписано. Оставалось только вздохнуть да молиться Создателю, чтобы он выручил мужиков из беды: послал бы им урожай хороший. Но Бог не услышал, видно, его молитвы. Прошла грозная туча над всем селом и градом выбило хлеб на полях до зернышка… Песчановцы почти голодали… Уж до уплаты ли было им, когда у многих в избе сухой корки не было!..

Выслушав их, отец Алексей глубоко вздохнул и низко понурил голову.

— А на отсрочку он не согласен? — спросил он.

— И слышать не хочет, батюшка!.. Уж мы-ль его не просили! Валялись в ногах-то, валялись… Нет, говорит, умели брать, умейте и отдавать… Да, нешто, мы виноваты?.. Мы, нешто, знали, что нас Господь посетит?..

— Так что ж делать, братцы?

— Да вот… Сходи ты к нему… Сходи, попроси, чтоб он еще на год отсрочил… Мы отдадим, Господь видит! Вот только справиться… Ты уговори его, постарайся!.. Тебя то, он может, послушает… Будь ты за нас заступником, батюшка!.. Вечно будем Бога молить, отец родной… благодетель!.. И мужики опять брякнулись на колени.

— Ну, ладно… встаньте, братцы!.. Схожу, попрошу его, — говорил священник. — Только навряд-ли… Да нет! Не может же он всех пустить по миру! — вдруг чуть не крикнул он. — Не каменное же у него сердце!..

— Хуже!.. пробормотал кто-то в толпе. — Камень — и тот лопнет… А он…

Отец Алексей побрел к дому Мирона Данилыча, сопутствуемый пожеланиями: «в добрый час»! Крестьяне снимали шапки и крестились… Надежда еще не совсем покинула их…

Село Песчанка тянулось версты на две вдоль по почтовому тракту. Избушки были все больше ветхие, дымные, с кровлями крытыми почернелою соломою. Во всем селе только и выдавались: волостное правление, дом старшины да чисто барские, полукаменные палаты Мирона Данилыча, с занавесами и шторами в окнах, с красивым крыльцом и даже звонком у двери.

Отец Алексей с тревожно бьющимся сердцем дернул за этот звонок. Ему отворила босая, простоволосая баба, с засученными рукавами и выпачканным мукою лицом.

— Мирон Данилыч дома?

— Дома, батюшка, дома. Пожалуйте!.. Сейчас только вернулись, чай кушают.

— А, вот и вы, отец Алексей! Завернули-таки, надумались! — говорил, выходя в прихожую, Мирон Данилыч. — Ну, вот и отлично, и превосходно! Как раз самовар теперь на столе! Пожалуйте-ка, пожалуйте! — И он, улыбаясь слегка взял за плечи отца Алексея.

— Но я к вам по делу, Мирон Данилыч... — забормотал тот.

— По делу-с? — кабатчик вдруг насторожился. — Что же, и потолкуем-с... Дело не волк, батюшка, в лес не уйдет!.. Пожалуйте-ка, пожалуйте!

И они вошли в большую просторную комнату, с окнами в сад. На огромном столе, накрытом красною камчатною скатертью, стоял блестящий, как золото, самовар; тут же — разрезанный пирог с рыбою, большой графин с водкой и другой маленький с какой-то зеленоватой настойкой и тарелки с орехами, пряниками и мармеладом.

Из-за стола поднялась тучная, расплывшаяся женщина, лет 35, в зеленом шелковом платке и с жемчужным ожерельем на шее. Она подошла, склонив голову, к отцу Алексею, и тот торопливо благословил ее.

— Вот сюда, батюшка, вот сюда-с! — говорил кабатчик, подвигая мягкое, покойное кресло. — Тут будет вам поудобнее-с!

— Благодарю вас, Мирон Данилыч. Я на минутку только, мне некогда...

Но Мирон Данилыч точно и не слыхал.

— Чайку, батюшка? с чем прикажете? со сливочками? с лимоном? с ромком, может быть? Есть и ром у нас превосходный! Достань-ка, Марфа Ивановна!

— Не беспокойтесь, пожалуйста... Я ничего не хочу! — говорил священник.

— Так пирожка, батюшка... Прошу покорно! Водочки, травничку!

— Но я, ведь, не пью... Вы знаете.

— Да, правда и то, виноват-с! Совсем из ума вон!.. так пирожка кусочек! Пирог, могу сказать, очень добропорядочный...

— И пирога не хочу, Мирон Данилыч, увольте!.. Я к вам по делу собственно...

— Изволили говорить, слышал-с!.. Вот только мне невдомек, батюшка: по какому? Кажись, мы с вами не имели никаких дел.

— Да дело-то не мое лично… меня просили крестьяне…

— Крестьяне-с? — Мирон Данилыч насторожил уши. — О чем, позвольте спросить-с?

— Да вот… — И отец Алексей рассказал в чем дело. Мирон Данилыч выслушал его, не моргнув бровью.

— Прекрасно-с! — заговорил он, когда отец Алексей кончил. — Все это мне очинно хорошо известно… Да только я-то при чем же тут, батюшка? Я-то что ж могу сделать?

— Как что? Да отсрочьте им еще на год!.. Ведь, помилуйте, Мирон Данилыч, они без хлеба сидят, голодают!.. — И в голосе отца Алексея вдруг зазвучали слезы. — Что будет с ними, когда вы отберете у них последнюю коровенку, лошадку? Они, ведь, по миру все с сумой пойдут!..

Мирон Данилыч только пожал плечами.

— Что ж делать-с? — говорил он. — Конечно, жалко… разор… Все описать придется… Да только и то возьмите вы во внимание, батюшка… Чем же я виноват тут? Мое-то добро, зачем пропадать будет? Ведь, 900 рублей… Деньги не малые-с, на улице их не поднимешь!..

— Да, ведь, они отдадут вам, Мирон Данилыч… На будущий год отдадут… Дайте им только поправиться…

— Не могу-с!.. Я уж и к взысканию подал, исполнительный лист вчера получил… Думаю, на неделькe, этак дня через три-четыре, и к описи приступить… Теперь-то дела у меня… Завтра, вон, в городе надо…

— Бога вы не боитесь, Мирон Данилыч!.. — с отчаянием говорил священник. — Ну, что вам стоит? Послушайте… Ну, я прошу, умоляю вас!.. Я вам ручаюсь за них! На будущий год они вам все выплатят до копейки… Отсрочьте!

— Господь свидетель, что не могу-с!.. Помилуйте, я бы душевно рад… Не могу-с… Совсем это не в моих правилах… Двадцать уж лет торгую и никогда никому не давал отсрочки…

— Мирон Данилыч!.. Ради Христа!.. — Из глаз отца Алексея вдруг брызнули слезы. Он крепко сжал дрожащею рукою толстую, волосатую руку кабатчика. Но та рука и не дрогнула.

— Видит Бог, не могу, батюшка… Не могу-с!

— И это ваше последнее слово?

— Последнее-с… И из чего вы хлопочете так, волнуетесь? стоит ли? пьяницы! негодяи!..

— Прощайте же, коли так… Господь с вами!..

— А пирожка-то? чайку стаканчик?..

Но отец Алексей только махнул рукою и, пошатываясь как пьяный, вышел из комнаты.

— Что это батюшка-то нейдет, — говорила матушка Аграфена Петровна, наливая себе чашку чаю. До сих пор нейдет от обедни!.. Опять самовар-то подогревать надо…

— Да, видно, зашел куда, маменька, — заметила старшая из дочерей, Анюта, худая, некрасивая девушка, лет 30. Три других: Маша, Оля и Надя, от 25 до 18 лет находились тут же за чайным

столом и лениво прихлебывали из чашек.

Дверь отворилась и вошел отец Алексей; молча он, помолился перед иконою и молча присел к столу. Лицо у него было мрачно и печально.

— Ты это где ж пропадал? — ворчала матушка. — Мы без тебя весь чай выпили… Нового заварить надо…

— Да там… по делу… К Морозову ходил.

— Это зачем еще?

— Надо…

Матушка пристально посмотрела на мужа.

— Да что с тобою? — говорила она. — Ты точно в воду опущенный!.. Не вышло ли уж чего, сохрани Бог?.. Бумаги от благочинного не было ли?..

— Нет, дело тут не в бумаге, матушка, а вот в чем!.. — И отец Алексей все рассказал жене.

— Ирод! одно слово — Ирод! — заметила матушка. — Что ж от него и ждать-то?.. Да ты не знал разве, каков он человек? Пошел к нему кланяться…

— Все думал: авось либо… Где уж!.. Ни совести нет в человеке, ни Бога!..

— Нашел у кого!..

— А все же помочь мужикам надо!.. — заговорил вдруг отец Алексей. — Не выручи их теперь — по миру все пойдут!

— Это верно!

— Вот и придумал я… Выйдите-ка на часок! — обратился к дочерям священник. — В саду погуляйте что ли… Погода теперь хорошая…

Девушки встали и вышли из комнаты.

— Ну, в чем дело, батька? — спрашивала матушка.

— Да вот видишь, Аграфена Петровна… Есть у нас знаешь, там — скоплено кое-что… Сот шесть-семь, никак… Ну серебро еще есть, ложки. — Продать можно…

Матушка точно окаменела, застыла на месте. И потом вдруг всплеснула руками.

— Да ты никак с ума сошел! — завопила она. — Поди лучше выспись!..

— Я говорю серьезно…

— А я говорю: выспись поди!.. Господи, Царь Небесный, что он выдумал!.. — И матушка опять всплеснула руками. — «Сотен шесть-семь никак… Серебро, ложки»… — передразнила она. — Да ты белены просто объелся, отец Алексей, очумел!.. Да что мы, деньги-то сами делаем? Иль ты забыл, что у нас дочери есть, невесты? Четыре вот сидят!.. Иль ты забыл, что в городе в семинарии, еще три сына?..

— Матушка!.. — начал отец Алексей.

— И слышать ничего не хочу!.. не хо-чу!.. — замахала она тут руками. — Выспись-ка лучше!..

— Да отдадут, ведь, они на будущий год… Все отдадут…

— Знаем мы их отдачи!.. Пьяницы все!.. Много ли с них получаешь ты, а?.. За требы-то? Нет, не давать, они сами сорвать норовят, вот что!..

— Да по миру, ведь, они пойдут, по миру… Понимаешь!.. — чуть не заплакал отец Алексей.

— Ну, и пускай… Поделом им!..

Он посмотрел на нее с удивлением.

— Опомнись ты, Аграфена Петровна… Господь с тобою! что ты говоришь!..

— Знаю, что говорю. Не дам, и все тут!..

— Да отдадут, ведь, они… А если-б даже и не отдали… Ну, там несчастье опять какое, сохрани Бог, иль что… Так, ведь, мы, слава Богу, сыты, одеты… Мы не пойдем по миру… О дочерях говоришь: невесты… Ну, что ж! Полюбит их кто — и без приданого возьмет замуж… А сыновья — те сами себе хлеб добудут…

Но матушка вдруг заткнула уши и отчаянно замотала головою. А когда вернулись дочери и узнали в чем дело, все они также накинулись на отца.

— Папенька! Да Бога вы не боитесь!.. Да разве это возможно!.. Надуют они, оплетут вас, не отдадут денег!.. Ведь, нищими мы останемся!..

И как ни просил их, ни убеждал отец Алексей, они и слышать ничего не хотели! Бедный старик за день совсем измучился. Он даже всю почти ночь не сомкнул глаз и все ворочался с боку на бок.

— А надо устроить все это, надо!.. — думал он. — Ведь, тут нищета… голод… сума… Господи Боже мой! — И перед ним вдруг вставали, точно живые, бледные, изнуренные люди в лохмотьях: дряхлые старики и старухи, дети с сумами на костлявых плечах… «Милостинку, Христа ра-ди! Кормилицы, доброхоты вы наши!..» звенел у него в ушах дребезжащий голос. И дрожь вдруг охватывала отца Алексея.

— Только отсрочку бы маленькую, хоть денька на два… а там как-нибудь…

И вот рано утром он уже звонил у дверей Мирона Данилыча.

Кабатчик встретил его полусонный, сердитый. Он даже не пригласил его в комнаты. И отец Алексей остался в прихожей.

— Что скажете, батюшка?

— Да вот с просьбою к вам. На счет этого долга, Мирон Данилыч.

— Тэ-эк-с!.. — протянул сухо кабатчик. — Но я говорил уже вам: не могу-с!.. Завтра приступлю к описи…

— Ну, а если этак денька два-три… повремените?

— Повременю-с, пожалуй, — отвечал ничего не понимавший кабатчик. — Только зачем же это?

— Да деньги они достанут…

Мирон Данилыч вытаращил глаза. Он точно ушам не верил.

— Достанут, изволите говорить? — переспросил он.

— Да.

— Откуда-с?

— А это уж их дело… Так вы согласны?

— На два денька? согласен-с… Только уж больше ни-ни!.. Если через два дня не внесут, вынужден буду действовать по закону-с… Только, мне кажется, это утка-с! — говорил усмехаясь Мирон Данилыч. — Откуда им взять столько денег? Просто глаза вам отводят, морочат вас, батюшка…

— Так до свиданья, Мирон Данилыч, — поклонился отец Алексей. — До послезавтра!

— До послезавтра-с!

И отец Алексей вышел. Кабатчик, все так же посмеиваясь себе в бороду и покачивая головою, глядел ему вслед…

— Захарыч!.. Эй, ты, Захарыч, подь-ка сюда! Глухая тетеря!.. — кричала Федосья, работница отца Алексея.

Захарыч подковылял к воротам и приподнял шапку.

— Батюшка тебя хочет видеть зачем-то. В садике он, поди!

— А матушка? — робко спросил Захарыч и оглянулся по сторонам.

— В город уехала с дочерьми, не бойся! Еще вчера вечером…

И Захарыч вошел во двор.

Садик у отца Алексея был маленький, точно игрушечка. На клумбах алел крупный махровый мак; цвели ноготки, георгины, пионы, душистый горошек, левкой, резеда.

Старик очень любил цветочки, иной раз по целым часам возился около них: там подстригал, тут подвязывал, там поливал. В знойный июльский день здесь была благодать просто! Густо так разрослись душистые липы и яблони, сплелись зеленеющим сводом и почти вовсе не пропускали солнца… Местами сквозь ветви деревьев что-то сверкало, серебрилось… Это маленький ручеек. Он огибал с одной стороны садик и впадал в довольно большую и глубокую речку Пучатку… Отец Алексей сидел в опутанной хмелем беседочке. На коленях его лежала июльская книга Четьих-Миней, но он не читал се… не то в раздумьи каком-то, не то в дремоте сидел старый священник… Но вот он слегка вздрогнул и поднял голову. Перед ним стоял, держа шапку в обеих руках, Захарыч.

— Зайди-ка! зайди сюда! — говорил отец Алексей. — Сядь!

— Благодарим покорно! и постоим, батюшка!

— Сядь!

Захарыч присел на скамейку.

— Видишь в чем дело, голубчик… — заговорил священник. — Денег-то мы добудем!.. И он вдруг робко оглянулся по сторонам, точно боясь, что его услышат. Добудем! — шепотом повторил он. — И долг ему весь уплатим…

Захарыч разинул рот и сидел точно окаменелый. Он только моргал глазами.

— Да как же… как же это, кормилец?.. — с трудом проговорил он. Откуда?

— Да я дам.

— Ты, батюшка?!..

— Ну, да, я… Есть у меня там припрятано сот шесть, семь… Ложки серебряные, иконы… Ну, шуба лисья; рясы две шелковых… Кое-что найдется… Внесем!.. Одно вот только, Захарыч… Знаешь, ведь, уговор лучше денег… Я-то уж стар, одною ногою в гробу стою; мне самому ничего не надо… А вот у меня семья, видишь, — дочери… Матушка, — так та и слышать не хочет о деньгах-то… Да я уж там как-нибудь, — постараюсь… Отсрочит он на два дня. Завтра я в город съезжу, и что не хватит — привезу… Достану…

— Так вот — продолжал священник, — ты передай там своим, чтоб они не тревожились… Все уплатим. Да чтоб молчали пока, — ни гу-гу!.. И матушке ни словечка… Понял?

Захарыч вдруг повалился старику в ноги и громко заплакал.

— Тсс… тише… тише… Что ты, Господь с тобою! Встань… — шептал отец Алексей и силился приподнять его.

— Кормилец ты… Благодетель!.. Родимый ты наш!.. — причитал Захарыч. — Что ж это будет… Господи!.. И он утирал кулаком градом катившиеся по щекам слезы. — Отец Алексей!..

— Ну, полно тебе, успокойся! Чего точно баба разрюмился! Встань! Так вот передай мужикам-то, чтоб ни гу-гу пока…

— Лучше помрем, батюшка!..

— Ну, а на будущий год, если Господь сподобит…

— Все, до копейки, отец родной, до медной полушечки!.. Вот разрази меня Царь Небесный на сем самом месте!..

— Захарыч!..

— Чтоб и детей не видать мне!..

— Захарыч! — уж строго повторил отец Алексей, — Стыдно, грешно так божиться!.. Так вот… на будущий год, коли Господь сподобит, уплатите… Мне-то самому ничего не надо… Дочери…

— Все до копейки!.. Поправимся вот ужо…

— И прекрасно! Дай Бог!..

— Условие тоже тебе напишем… Сегодня же. Вот в волостное сходить. По закону!..

— Не надо мне никакого условия! И без него отдадите… Только бы вот поправиться. Ну, а теперь и ступай, Захарыч!..

Бегу, кормилец ты мой, бегу! — Захарыч еще раз бухнулся в ноги отцу Алексею, поцеловал у него руку и побежал.

Отец Алексей молча глядел ему вслед. Но вот он глубоко вздохнул и перекрестился…

— Батюшка! к вам от Матвеевны пришли — говорила, входя в сад Федосья. — Парнишка ее прибежал… Совсем, говорит, помирает баба.

— Сейчас я, сию минуту. Пусть подождет… Васютка, верно?

— Васютка!

Отец Алексей торопливо вышел из садика. Захватив ключ, он прошел в церковь, взял там крест и святые дары. Минут через десять он уже шагал, в сопровождении грязного оборванного мальчугана, лет 13–14, на самый конец деревни…

— Так плохо ей, говоришь, Васютка?

— Плохо, отец Алексей, совсем плохо!..

— Ну, ничего… Бог даст поправится!..

— Где уж!.. — Васютка провел вдруг по глазам оборванным рукавом. — Точно бревно лежит! Ни ест, ни пьет ничего со вчерашнего…

Отец Алексей вздохнул.

Матвеевна была солдатка-вдова. Лет пять-шесть назад муж ее умер в госпитале от тифа, и осталась она с шестерыми детьми, мал-мала меньше, почти без куска хлеба. Жила она, чем придется. Порой нанималась полоть в огородах гряды. Когда заезжали дачники (а это случалось не каждый год), она им стирала белье, воду носила. Но чаще всего просто побиралась с ребятами Христовым именем и терпела горькую нищету. В избушке было грязно и сыро; пахло плесенью и еще чем-то тяжелым… Оборванные, чуть не голые ребятишки возились на грязном полу с котом.

При входе отца Алексея они присмирели, замолкли… Больная лежала в углу на лавке, и чуть слышно стонала. Глаза ее без всякого выражения были устремлены куда-то в угол… Отец Алексей подошел к умирающей. Он прочитал над нею глухую исповедь, приложил к губам ее крест, благословил ее… И, точно жемчуженки, вдруг заблестели слезы у старика-священника и застряли в его длинной седой бороде… Он отошел в сторону и подозвал Васютку.

— Кончится скоро, — прошептал он. — Ты не горюй очень-то… Что же делать, — Господь… Его воля святая!.. Ребят уйми тоже! Слышь, как расхныкались…

Присмиревшие ребятишки поняли, видно, в чем дело, и вдруг закричали.

— Мамушка!.. Ма-амка!.. — ревел младший, Петюнька.

— Ну, полно, миленький, полно! — утешал его отец Алексей и гладил его белокурую, всклокоченную головенку — не плачь!.. Ты заверни после ко мне! — шепнул он Васютке. — И схоронить-то, ведь, поди, не на что!

Тот только рукой махнул и вдруг отвернулся. Его худая, впалая грудь вздрагивала от плача.

— Так заверни, дам маленько... А там посмотрим.

И отец Алексей, глубоко вздохнув, вышел на улицу.

— Шестеро... шестеро, ведь!.. — бормотал он, тихо шагая к дому. — Надо пристроить их как-нибудь... Есть, ведь, тоже, пить надо... оборваны... Сиротинки!.. И слезы застилали глаза старику-священнику.

В домике отца Алексея давно уже все спали. Только отец Алексей не смыкал глаз и все ворочался с боку на бок в своей каморке... Разные мысли волновали его...

— Что ж, — думал он. — Ну, возьму... Не чужое возьму, свое... не украду!.. Потом отдадут ведь, не пропадет... Посердится, побранится... Что ж делать! просил, Христом Богом просил, умолял — не слушает!.. А все же оно как-то... не того будто!.. приходило ему опять в голову. — Неловко точно, нехорошо... Пустое! не воровать, ведь, иду, — свое же! — И отец Алексей спустил ноги с кровати.

Вот потихоньку, как вор, оглядываясь и прислушаваясь, добрался он до спальной жены. Вот потянул скобку двери... Дверь слегка скрипнула, и отец Алексей замер. С тревожно бьющимся сердцем остановился он на пороге. Но матушка крепко спала. Отец Алексей шагнул... Скрипнула половица... Еще два шага, и вот он у старого, пузатенького комода с медными скобками. Там, в первом ящике, в красной коробке из под конфет лежали деньги. Он знал это... Ну, а ключи где? ключи? Да, там, в сундучке этом, в углу... И все с так же бьющимся сердцем, с краскою в лице, с холодным потом на лбу, старик достал связку ключей. Вот он вложил дрожащею рукою один из них в замочную скважину. Ключ повернулся и дззинь!.. На всю спальню, на весь дом вдруг зазвенел замок!.. Отец Алесей точно прирос к полу... Долго стоял он, затаив дух и прислушиваясь. Но все было тихо. И вот ящик комода выдвинут; найдена красненькая коробочка... Да, все тут семьсот рублей... Во втором ящике лежат серебряные ложки... Он вынул их осторожно и, не считая, завернул в какой-то платок...

Точно из бани, вышел отец Алексей из спальной. Вот он в своей каморке и торопливо роется в сундуке... Вот лисья шуба, вот две рясы... Он все это завязал в узел.

В воздухе потянул свежий, предутренний ветерок. Но солнышко еще не всходило. Отец Алексей, совсем одетый, будил работника Митрофана. Тот долго не понимал в чем дело. Наконец, понял. Батюшка приказал немедленно запрягать лошадь; поедут в город... Слегка поохивая и крехтя, поплелся он к Воронку в конюшню... Но вот лошадь заложена. Отец Алексей тщательно уложил на дно таратайки узел, прикрыл его сеном, влез сам и, еще раз робко взглянув на окно спальной, перекрестился...

— Ему, Творцу Всемогущему лучше знать: худо ли, хорошо ли я сделал, — думал старый священник. — Если и согрешил я, простит Он, помилует... Не на худое, ведь...

— Трогай-ка, Митрофанушка, трогай! Да поскорей только!

И Митрофан задергал вожжами…

В городе все знали Семена Ивановича Кудеярова. Он был владельцем каменного пятиэтажного дома и трех мучных лабазов. Ласковый, добрый, приветливый, подчас шутник, балагур, гостеприимный до крайности, он был всеми любим и уважаем в городе. Всем, и приказчикам, и прислуге, жилось у него хорошо: они, сытые и довольные, как сыр в масле, катались…

Было часов семь утра. Семен Иванович сидел в столовой за самоваром. Он только что налил себе четвертый стакан крепчайшего чаю, как в комнату вошла кухарка Маланья…

— Отец Алексей к вам приехал, песчановский…

— А!.. — обрадовался Кудеяров. — Зови, зови поскорее!

— Какими судьбами, батюшка? — говорил он и крепко пожимал обе руки священника. — Ветер вас, что ли занес попутный? Ведь, сколько лет, сколько зим не видались! Никак еще с прошлого Покрова?

— Да, кажись, так. По делу, Семен Иванович, — к вашей милости.

— Рад служить, батюшка! Прошу покорно! Чайку стаканчик? Перекусить чего с дорожки?.. Сейчас прикажу подать… — И Кудеяров засуетился.

— Не беспокойтесь! Ради Бога, не беспокойтесь! я ничего не хочу, сыт… Вот разве чайку — можно.

— Пожалуйте, отец Алексей! — и Кудеяров подал ему стакан. — А тут вот булки и сухари домашние!

— Благодарю вас.

— По делу, вы говорите, батюшка? В чем же дело?

— Да денег мне надо, Семен Иванович, вот в чем дело-то… Рублей двести…

— Можно!

— Но срока назначить я не могу… Это уж как хотите! Сподобит Бог, на будущий год отдам, а нет — еще через годик.

— Извольте, готов служить. Ну, а срок — пустяки, батюшка! Будут, так отдадите…

— Спасибо, родной мой! спасибо! выручили меня!.. И отец Алексей крепко пожал руку Семену Ивановичу. — А что касается там обеспечения… Есть кое-что, захватил… Ложки серебряные, шуба, две рясы…

— Да что вы, Господь с вами!.. — обиделся Кудеяров. — Что я закладчик, что ли? Подите вы с обеспечением!

Отец Алексей сконфузился.

— Надо вам деньги — вот!.. Двести, триста, четыреста. Что я вас первый год, что ли знаю!.. — Кудеяров вынул толстый бумажник, а из него две радужных. — Вот вам, берите!..

— Так я хоть, по крайней мере…

— Росписочку? А я разорву ее — вот и все!.. Уж вы бы вексель на срок да с узаконенными процентами… Полноте, батюшка, не то рассержусь, ей Богу… Нате-ка вот, благословясь, получите!..

Отец Алексей возвращался домой веселый, довольный… Был жаркий июльский день, и солнышко припекало порядком… Старик то и дело снимал шляпу и отирал с лица пот. Но он чувствовал себя превосходно, на сердце у него было так хорошо, легко…

— Ну, вот, слава Богу! — думал он, и радостная улыбка озаряла его лицо. — Все теперь, все поправим!.. Теперь уж они не пойдут с сумой, — нет!.. Зачем вот только мне раньше эта мысль не пришла в голову? Раньше бы к нему обратиться… Ведь, он мне, может, и все бы 900 дал.

Но чем ближе подъезжал к дому старый священник, тем на сердце у него становилось все тяжелее и тяжелее… Как встретится он с матушкой? Что будет, когда скажет ей, что взял деньги? А, ведь, сказать надо; не скажешь — сама узнает… И эти мысли смущали отца Алексея…

А вон и Песчанка… Работник дернул вожжами, причмокнул, и Воронко побежал быстрей… Вон домик, кровля, крытая черепицею… Сердце у старика сильно ёкнуло…

Матушка накрывала на стол обедать. Дочерей в комнате не было. Отец Алексей вошел, заметно смущенный, помолился перед иконою в углу…

— Да где ты это был, батька?.. — накинулась вдруг на него матушка. — Что это, право, такое!.. Ты, точно вор, втихомолку из дому уходить стал!.. Проснулась я давеча, еще пяти не было… Хвать-похвать — а его уж и след простыл… В город уехал, говорят, еще до свету… Да зачем тебе вдруг так понадобилось? А?

Отец Алексей кашлянул и задергал дрожащею рукою бороду.

— Вот видишь ли, Аграфена Петровна… — И он, как школьник, пойманный в крупной шалости, все рассказал, краснея и заикаясь, старухе.

Сперва матушка словно окаменела. Она с разинутым ртом и вытаращенными глазами смотрела на мужа и не могла слова сказать. И вдруг она разразилась криками, воплями и бранью. Брань посыпалась на седую голову отца Алексея, и тот молчал, низко опустив эту голову, точно преступник. Жена называла его грабителем, вором; грозила сейчас же, сию минуту бежать к благочинному с жалобою, ехать к архиерею…

Прибежали и дочери. Поднялся такой крик и шум, что бедный отец Алексей совсем ошалел. Напрасно старался он оправдаться перед семьей, успокоить ее — ему не дали и рта разинуть. Все плакали и кричали хором… Матушка призывала в свидетели всех святых и желала с места не встать, провалиться сквозь землю, если она не пожалуется самому преосвященному… Дочери плакали и кричали, что они теперь нищие, что скоро и выйти им будет не в чем — последнее платье с плеч валится…

Но, наконец, буря понемногу затихла, и отец Алексей, красный, как рак, весь облитый потом, смущенный, взволнованный, мог вымолвить слово.

— Да разве я враг вам? — дрожащим голосом говорил он. — Разве я не люблю вас? не забочусь о вас? Господи Боже мой!.. Я, ведь, всю жизнь, кажется… А тут, ведь… тут нищета, деньги не

пропадут… Их отдадут нам, ну, через год, через два, что ли…

— Да, так и отдали, как же!.. — кричала матушка.

Но отец Алексей точно и не слыхал ее.

— В чем дело-то тут? — говорил он, и голос его дрожал. — Да этими деньгами мы, ведь, многих спасем чуть ли не от голодной смерти, а, может быть, сохрани Господи и помилуй, и от преступления… Да!.. А вы вон мне говорите, что вам на наряды не хватит, что платья не на что завести будет, на улицу выйти зазорно!.. Э-эх! Детки, детки мои!.. Грешно вам так говорить, грешно, стыдно!..

Мирон Данилыч был удивлен, поражен просто, когда отец Алексей отдал ему в тот же день весь долг сполна и потребовал обратно условие. Он думал, что эта отсрочка так только для виду, и вот вдруг отец Алексей вручает ему все 900 рублей новенькими бумажками… Да полно, не сон ли это? Откуда такие деньги? С неба упали, что ли?.. Он знал, что отец Алексей был беден. Да если б был и богат, так неужели отвалил бы такую сумму этим пропойцам?.. И Мирон Данилыч усмехнулся даже при этой мысли. Ведь, это было бы нечто, ни с чем уж не сообразное!.. В долг им кто-нибудь дал? Да кто ж им может поверить!..

Мирона Данилыча очень занимало все это, но он, впрочем, и вида не показал. Он только тщательно пересчитал деньги и возвратил старику условие, предварительно надорвав его.

Отец Алексей обошел всех должников кабатчика и сообщил им, что долг уплачен. И что было там, в этих дымных и закоптелых избушках, мы говорить не будем… Старик вернулся домой уж поздно, с лицом мокрым от слез, и чуть не всю ночь напролет не сомкнул глаз. Так он был сильно растроган!

Прошло два года. В узенькой, но глубокой речке Песчанке немало воды утекло, а в самом селе все шло по-прежнему. Также работали мужички весною и летом и также ходили в извоз зимою. И в домике отца Алексея все шло обычным порядком. Матушка (она чуть не месяц слова не говорила с мужем после того случая), наконец, свыклась с мыслью, что деньги не пропадут. Осенью на другой год, после уборки хлеба, пришел Захарыч и отдал в счет долга 15 рублей, а остальные 10 Христом Богом просил подождать до будущей осени. За ним явились: Матвей, Онуфрич, Прокопий Петров… Одним словом, долг был на половину уплочен. И мир и спокойствие вновь водворились в душе матушки Аграфены Петровны, и она уже больше не называла песчановцев ни мошенниками, ни ворами. Отец Алексей отвез 200 рублей Кудеярову, и тот обещал пристроить куда-нибудь в приют ребятишек бедной Матвеевны.

Все в батюшкином домике, с полузаглохшим, запущенным садиком, шло по-прежнему. Только иной раз матушка о чем-то задумывалась. Но, впрочем, она не высказывала своих мыслей отцу Алексею. А дело было очень простое, обыкновенное. Всесильный Мирон Данилыч, державший в своих загребистых, цепких лапах чуть не весь округ, вдруг сделался ярым врагом священника. И еще бы! Ведь, тот порвал паутину, в которой запуталось было так крепко десятка два-три песчановских мух… И Мирон Данилыч не мог ему простить этого. Положим, что паутину можно будет опять раскинуть и мухам не миновать ее, рано иль поздно, но все-таки… Мирон Данилыч был так же вежлив, любезен со стариком, но в этой вежливости и любезности порой что-то заметно проглядывало… Отец Алексей ничего не видал, но матушка видела и волновалась. И мрачные мысли лезли ей в голову…

— А что, как выживет? — думала иной раз она. — Ведь, сила солому ломит, а сила у него — у-у!.. Сохрани, Господи, и помилуй!..

Но матушка волновалась совсем напрасно. И прежде песчановцы любили отца Алексея, а теперь они за него хоть в огонь и в воду полезли бы!..

Я видел его в прошлом году весною. Он все еще так же бодр и также любит свои цветочки: по целым часам возится он с ними в садике. Мирон Данилыч не оставляет, по-видимому (уж пятый год), враждебных замыслов против отца Алексея и все ожидает чего-то, присматривается... Но так он, видно, и останется в своем выжидательном положении и ничего не увидит и не дождется.

Старый учитель

I.

Маленький пролог к драме.

В большом и светлом коридоре частной гимназии Шнейдера давно уже прозвонил звонок, и учителя разошлись по классам. Только в шестом классе учителя еще не было. Человек 10–12 воспитанников столпились у одного из окон и о чем-то горячо, оживленно спорили. Среди них особенно выдавались двое. Один — стройный, высокий и худощавый блондин, лет семнадцати, с бледным, красивым лицом, тонкими, правильными чертами, но с каким-то надменным и холодным выражением. Та же холодность и надменность отражалась и в его больших карих глазах. Вообще юноша был очень красив, но эта красота не привлекала, а скорее отталкивала: от нее веяло нестерпимым холодом. Прекрасно сшитый сюртук из дорогого сукна изящно облегал его стройную талию.

Другой представлял совершенную противоположность первому. Это был плотный, коренастый юноша, невысокого роста, широкоплечий, с круглой, курчавою головой и небольшими серыми глазками. Одет он был очень бедно. Серенький сюртучок, сшитый, очевидно, не по его росту, сидел на нем мешковато. Юноша был очень взволновал. Он горячился и то размахивал, жестикулировал правой рукой, с толстыми, короткими пальцами, то сжимал ее энергично в кулак.

Худощавый блондин смотрел на него с каким-то холодным презрением; на плотно сжатых губах его мелькала презрительная улыбка.

— А я вам говорю, что вы этого не посмеете сделать! — горячился юноша и взмахнул кулаком чуть не под самым носом блондина так, что тот даже отступил на шаг. — А не то...

— А не то? — насмешливо повторил блондин. — Что ж, продолжайте, господин Федоренко!

— Не то вы будете иметь дело со мной... Да-с, со мной-с, господин Рунич!

И Федоренко опять взмахнул кулаком.

Блондин смерил его с головы до ног презрительным взглядом и процедил:

— Что ж, драться, что ли, вы будете?.. С вас это станется!

— Да-с, драться-с, коли на то пошло, господин Рунич... Папенькин сынок... Выскочка! — злобно, сквозь зубы, процедил Федоренко и шагнул вперед. — Вы думаете, что если ваш папенька миллионами ворочает, так вы и зазнаваться можете? аристократа из себя какого-то корчить?.. Ну, нет-с, вы это совершенно напрасно!.. Я уж давно до вас добираюсь, господин Рунич! — И злая усмешка искривила его губы. — Давно мне хотелось узнать: какая у вас кровь,

у людей богатых, такая ли, как и у нас, бедняков!

— Мужик… невежа!..

— Что-о?

— Ну, полно, оставь, Федоренко! — вступились товарищи, и один из них схватил его за плечо.

— Не стоит руки марать! — вполголоса проворчал кто-то.

Рунич презрительно оглянул его, пожал плечами и отошел в сторону.

— Да-с, господин Рунич, — горячо заговорил один из воспитанников, плотный брюнет, — мы не позволим вам обижать нашего учителя! нашего Андрея Иваныча!

— Не позволим! — подхватили и прочие.

— Он человек бедный… Но бедность не порок, ведь… Не все же ворочают миллионами! Зато он добрый, прекрасный, честный…

— Честный! — крикнул чуть не на весь класс Федоренко. — В тысячу раз честней каких-нибудь выскочек… негоциантов! Кто вас там знает, чем вы свои капиталы нажили?

— Перестань, Федоренко… нехорошо!

— Он вам ничего не сделал, и вы не имеете права…

— Как ничего не сделал?.. Однако, позвольте же, господа, — холодно заговорил Рунич, — вы все на меня напали, слова не даете сказать.

— Извольте говорить, господин Рунич, — насмешливо заговорил маленький, юркий воспитанник и отвесил низкий поклон, — мы вас почтительно слушаем!.. Silentium, господа, внимание! Слово за господином Руничем… Стул для оратора! Живо!

— Оставь, Павлов! — заметил кто-то. — Зачем паясничать!

Но маленький, юркий Павлов подбежал к кафедре, схватил стул и с почтительною ужимкой поставил его перед Руничем.

Тот закусил губы.

— Сейчас вы сказали, Покровский, — холодно заговорил он, — что я не имею права… что он мне не подал повода…

— Сколько нам помнится, — нет.

— В таком случае у вас очень плохая память… Мне кажется, вы должны были заметить, что он постоянно ко мне придирался… за сочинения… А смею думать, что они у меня выходили отнюдь не хуже, чем, например, у господина Иванова, — вскользь заметил Рунич и бросил презрительный взгляд на одного из воспитанников. — За сочинения он всегда ставил мне худший балл.

— Они не были гениальны, господин Рунич, — вмешался Павлов. — Таково мнение всех нас. А мое позвольте уж мне высказать откровенно; мое мнение о ваших произведениях: сплошная

бессмыслица, набор громких, трескучих фраз.

Многие засмеялись. Рунич опять закусил губы, но не обратил на Павлова никакого внимания.

— Но мы оставим сочинения в стороне, — продолжал он, — меня не это вывело из терпения, нет!.. Зачем он постоянно называет меня не иначе, как «господин Рунич», и зачем он так ударяет на этом слове?

— Как? вы находите? — удивился Павлов. — Но, ведь, он всех нас, учеников старших классов, зовет безразлично, то по фамилии прямо, то с прибавлением «господин». Что ж тут обидного? И ударений никаких он не делал, вам просто показалось.

Но Рунич не обратил на него никакого внимания.

— Я все молчал, все терпел, — продолжал он, — но, наконец, чаша терпения переполнилась… И я, господа, повторяю вам то, что сказал давече… Если он еще раз назовет меня «господином» Руничем, то я назову его господином «нищим и дураком»!

— Ну, это еще мы посмотрим! — злобно проговорил Федоренко и стукнул кулаком по столу. — Мы посмотрим!

Прочие воспитанники молчали. И это молчание было не в пользу Рунича: все смотрели на него неприязненно, а некоторые даже с ненавистью.

II

Действие начинается.

Учитель французского языка так и не пришел в шестой класс, и воспитанники провели чуть не час в оживленном споре и препирательствах с Руничем. Но, наконец, это им надоело. Они оставили его в покое и взялись за учебники. Рунич тоже уселся в стороне от других, на задней скамейке, достал какую-то книжку, в роскошном, тисненом золотом переплете и, по-видимому, весь углубился в чтение. Но это так только казалось, он был еще сильнее взволнован. По временам он взглядывал на товарищей, не обращавших более на него никакого внимания, и сколько ненависти, презрения было в этих взглядах исподтишка! Какая злая, язвительная улыбка кривила его тонкие, плотно сжатые губы!

Рунича никто не любил в гимназии. Да и немудрено. Невыносимая гордость, высокомерие сынка богатых родителей оттолкнули бы хоть кого. Рунич смотрел на товарищей с какой-то недосягаемой высоты величия и, кажется, только себя одного и считал человеком, а их — какими-то мошками и букашками. Понятно, что это раздражало юношей и они редко упускали случай посмеяться над Руничем и вывести его из терпения. Но вывести из терпения Рунича было больше, чем мудрено. Он превосходно владел собою и даже язвительная насмешка Павлова и толстые кулаки Федоренко, которыми тот, то и дело, размахивал чуть не под самым его носом, не могли ничего поделать. Рунич только презрительно улыбался и пожимал плечами.

Но вот опять прозвонил звонок. Ученики попрятали книги. Только один Рунич сидел по-прежнему углубленный в чтение.

— Сочинения Байрона, господа! — заметил насмешливо Павлов. — Известно, аристократ и читает только аристократов!

В коридоре послышались чьи-то шаги, и воспитанники подозрительно покосились на Рунича, а Федоренко погрозил кулаком и шепнул:

— Смотрите же, Рунич, я, ведь, сдержу слово!

Тот презрительно улыбнулся.

Дверь отворилась, и в класс вошел высокий, худощавый старик, с портфелем под мышкой. При его входе все повскакивали с мест и крикнули в один голос:

— Андрей Иваныч!.. Как ваше здоровье, Андрей Иваныч?

— Благодарю, господа! — говорил старик, ласково улыбаясь. — Я совершенно здоров.

Андрея Иваныча Запольева все любили в гимназии и особенно в старших классах, где он давал уроки русской словесности. Да и нельзя было его не любить. Уже при первом взгляде на этого худощавого, слегка сгорбленного старика, с длинною сильно поседевшей бородой, голубыми глазами и в высшей степени симпатичным лицом, видно было, что это человек мягкий, добрый, сердечный. На вид казалось ему лет 60, если не больше; но стоило только внимательнее приглядеться к нему, чтобы заметить, что не годы посеребрили эти длинные, по плечам слегка вьющиеся, волосы и бороду; не они наложили так много морщин на высокий, открытый лоб, а думы, заботы, лишения. И действительно, Андрею Иванычу не было еще и пятидесяти лет, но он слишком много перенес в жизни, много передумал и испытал. Одет он был бедненько… Правда, сюртук у него был тщательно вычищен: на нем не было ни пылинки; сапоги тоже ярко блестели. Но и не особенно внимательному взгляду не трудно было заметить, что локти у сюртука порядком-таки были потерты и слегка лоснились, а прекрасно вычищенные сапоги отнюдь не скрывали двух-трех заплаток и небольших прорешек, искусно заштопанных.

Андрей Иваныч сел, достал из портфеля какую-то книгу и развернул ее.

— В прошлый раз, господа, — начал он мягким, грудным голосом, — это было две недели назад, я говорил о наших талантливых самоучках, Никитине и Кольцове, и их значении в русской народной поэзии. Я даже задал вам сочинение на эту тему, и некоторые из вас порядочно написали его; а один даже и очень порядочно, хорошо…

Андрей Иваныч взглянул на вспыхнувшего вдруг, как зарево, Федоренко, и его кроткие, голубые глаза блеснули гордостью.

— Конечно, я знал, что тема эта будет трудна для некоторых, — продолжал он, — но я и не требовал многого. Ведь, для того, чтоб написать что-нибудь хорошо, надо *это* самому пережить и прочувствовать. Наконец, надо знать русский народ да не так знать как мы, редко когда заглядывающие в деревню, на дачу… Там он представлялся нам куда как непривлекательным: неразвитым, грубым, испорченным!.. Нет, господа, не так: а глубже, гораздо глубже — как знали его Кольцов и Никитин, сами вышедшие из этого простого народа… А многие ли из нас могут похвалиться таким знанием? — как-то грустно заметил Андрей Иваныч. — Итак, не все из вас хорошо поняли Никитина и Кольцова, — продолжал он, — а потому и не все поняли их значение в русской поэзии… Конечно, и сочинения вышли не одинаково хороши. И я не взыскиваю за это. Всякий написал, как мог, как умел. Но вот, например, Рунич…

Почти все оглянулись; иные с заметной тревогой и волнением, казалось, ждали чего-то. Федоренко уж сжал толстый кулак и украдкой показал его за спиной Руничу. Но тот молчал и только покусывал губы.

— Рунич написал хуже всех, — продолжал учитель, — он написал что-то такое, чего я даже понять не могу. — И Андрей Иваныч слегка улыбнулся, а Рунич еще более побледнел и чуть не до крови закусил губу. — Но с Рунича я могу требовать еще меньше, чем с вас: он иностранец, родился и жил за границей и только два года в наших краях… Он не имеет никакого понятия ни о нашей жизни, ни о народе… Но, впрочем, оставим это. Время идет, — слегка вздохнул Андрей Иваныч, взглянув на часы, — а сегодня я хотел потолковать с вами об одном из лучших и благороднейших людей земли русской, о честном и бескорыстном труженике — Виссарионе Григорьевиче Белинском.

Воцарилась мертвая тишина. Все приготовились слушать с напряженным вниманием. Слышалось только сдерживаемое, порывистое дыхание юношей, да откуда-то с улицы доносился глухой стук колес проезжавших экипажей.

Андрей Иваныч точно вдруг помолодел. Куда девался этот слегка сгорбленный человек, с кротким, добродушным лицом! Стан его гордо выпрямился, голубые глаза сверкали одушевлением, морщины на лбу разгладились… Он говорил увлекательно, красноречиво, и эти искорки, этот огонек, вспыхнувшие в старике, передались и его молодым слушателям. Даже вечно ленивый и неповоротливый малый, Бабурин, и тот облокотился о стол, подпер руками свою большую, круглую голову и не спускал глаз с Андрея Иваныча.

А что же Рунич? Да и он тоже сперва как-будто увлекся этой вдохновенною речью. Но вот опять высокомерная, презрительная улыбка мелькнула у него на губах, и он углубился в чтение Байрона.

В тонких, но ярких чертах, как истый художник, Андрей Иваныч набросал портрет великого критика, коснулся вкратце его биографии… И перед очами его впечатлительных слушателей, точно живой, явился образ этого человека, с страдальческим, изможденным лицом, с печатью на нем неизлечимого недуга, с слабым, дрожащим голосом.

— Но этот голос всю жизнь звучал только для блага и пользы; всю жизнь учил только добру, истине и красоте, красоте души и лучших, возвышенных чувств человека!..

Андрей Иваныч умолк, и все точно проснулись от чудного, сладкого сна… С грустной улыбкой старик смотрел на одну из задних скамеек, где сидел Рунич. И все невольно обернулись туда же.

Рунич, слегка облокотившись на стол, по-прежнему читал Байрона и был, по-видимому, совершенно глух к горячим и страстным речам учителя.

Андрей Иваныч обиделся.

— Рунич! — проговорил он.

Но тот и не шевельнулся.

— Рунич! — повторил старик, и голос, его слегка дрогнул.

Рунич отвел от книги глаза и как-то лениво, нехотя встал.

— Быть может, вам вовсе не интересны мои рассказы, — заговорил старик, и в голосе его звучало что-то, похожее на оскорбленное самолюбие. — Вы так прилежно занялись чтением какой-то книжки?..

— Я читал Байрона.

— А, Байрона… Это прекрасно… Я сам не один раз читал его. Но для этого вы, ведь, могли бы выбрать другое время. Теперь урок русской словесности!

— Вы сами недавно мне говорили, господин Запольев, что я иностранец, а потому и не понимаю ни русского народа, ни русской жизни, — как-то надменно, дерзко говорил Рунич. — Вы, кажется, рассказывали о… как ее… да, о народной *русской* поэзии! — И он подчеркнул слово «русской». — Я иностранец, Никитины и Кольновы мне чужды, и я предпочел поэта, более для меня понятного — Байрона.

Андрей Иваныч слегка смутился. Он вовсе не ожидал такой дерзости. Ученики с трудом сдерживали негодование.

— Но, ведь, Кольцов и Никитин не просто русские, а вообще *люди,* — заговорил старик, и в его кротком, незлобивом сердце вдруг закипела досада, — а вы можете ли понять, что такое люди, «господин» Рунич?

И он сделал резкое, ироническое ударение на слове «господин».

— Понимаю! — И Рунич дерзко взглянул в глаза учителя; его лицо исказилось злобной усмешкой. — И понимаю не хуже, чем вы, «господин нищий»!

Весь класс, как один человек, ахнул от негодования. Федоренко весь побагровел и вдруг вскочил со сжатыми кулаками. Смертельная бледность разлилась по лицу Андрея Иваныча.

— Нищий!.. а!.. Так вот вы чем меня укорили! — глухо простонал он, и на лице его мелькнуло какое-то запуганное выражение.

Но это продолжалось только одно мгновение. Глаза старика сверкнули, и он резким и твердым голосом проговорил:

— Господин Рунич, выйдите вон из класса!

— Не выйду.

— Я вам приказываю!.. слышите?! — Да, я нищий: я трудом добываю кусок насущного хлеба, но я ваш начальник, господин Рунич! начальник в пределах этой гимназии, этого класса! вы понимаете?.. И я вам еще раз приказываю!

— Вы не смеете меня гнать, господин Запольев!.. Скорее вас самих выгонят!

— А-а! Но теперь — вон!

И старик грозно указал на дверь.

— Вон! — закричали все в голос.

— Ты слышишь? — злобно под самым ухом Рунича зашипел Федоренко, наклоняя к нему искаженное от злобы лицо. — Сейчас же, сию минуту — вон! а не то!..

Бледный, дрожащий, но все еще презрительно улыбающийся, Рунич вышел и сильно хлопнул дверями.

Весь класс точно вымер от негодования и стыда. Андрей Иваныч грустно понурил голову.

III.

Разговор с директором.

Крупный, осенний дождь звонко барабанил в стекла окна небольшой, просто меблированной комнатки. Диван, обитый клеенкой, стол перед ним, с полдюжины стульев. Эта комнатка в гимназии Шнейдера называлась «учительская». В нее, во время коротеньких «перемен», заходили иной раз учителя, покурить, перемолвиться друг с другом словечком.

Теперь в этой комнате был только один человек — Андрей Иваныч. Он стоял у окна и смотрел на грязный, мощеный двор. Толстый кучер, с широкой, окладистой бородой, запрягал воронка в пролетку и то и дело сердито покрикивал на него: застоявшийся конь никак не хотел вести себя смирно… Молодой дворник с азартом рубил дрова, не обращая на дождь никакого внимания; щепки так и летели во все стороны под могучими взмахами топора.

Но ничего не видел Андрей Иваныч. Он стоял грустный, задумчивый. Порой губы его сердито сжимались, между бровями появлялась какая-то складка, в глазах вспыхивал огонек. Но это продолжалось не долго: огонек потухал, и глаза опять затуманивались, лицо принимало печальное, почти страдальческое выражение.

— Васс…кродие! — послышался за его спиной чей то голос.

Андрей Иваныч вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял гимназический сторож Михеев, бравый унтер, с огромнейшими усами и бакенбардами.

— Господин дилехтур вас просят, васс…кродие, — почтительно докладывал унтер. — Густав Адольфыч.

— Меня?.. К себе?

— Так точно-с… Покорнейше просили пожаловать, васс…кродие… Они у себя в кабинсте-с.

— А, хорошо… Сейчас.

Андрей Иваныч поднялся по широкой лестнице, устланной дорогим ковром и уставленной кадками с пальмами и олеандрами?

«Зачем бы это? — подумал он, берясь за дверную ручку. — Уж не затем ли?»

И полу-грустная, полу-насмешливая улыбка мелькнула на губах старика.

В изящно убранном кабинете, у письменного стола сидел низенький, плотный блондин, лет 48, с добродушным лицом, в золотых очках. Это был директор гимназии, Густав Адольфович Шнейдер, совсем обрусевший немец.

Он быстро встал и пошел навстречу Андрею Иванычу.

— Простите меня, любезнейший господин Запольев, — заговорил он, протягивая старику белую, пухлую руку, украшенную золотыми перстнями, — я, может быть, вас потревожил? вы собирались домой?

— Нет, я был в учительской комнате.

— Да?.. Садитесь, садитесь, любезнейший господин Запольев! — И Шнейдер собственноручно подкатил старику массивное кресло, обитое темно-голубым бархатом. — Сигару, вот, не угодно ли?

— Благодарю вас, Густав Адольфыч, — я не курю сигар.

— Не ку-урите? — удивленно протянул Шнейдер. — Но почему же?

— Да не по средствам, — слегка улыбнулся Андрей Иваныч.

— А папиросы?

— И папирос не курю. Трубку, и то очень редко и мало.

— А-а!..

Наступило молчание. Андрей Иваныч вопросительно глядел на директора. Но тот молчал, очевидно, чем-то смущенный.

— Скажите мне, господин Запольев, — заговорил Шнейдер, пристально разглядывая какую-то фарфоровую вазочку на столе. — Что у вас вышло там с этим… Руничем?

Андрей Иваныч вспыхнул и потом побледнел. Он все по порядку рассказал директору, стараясь говорить хладнокровно. Но это ему не совсем удавалось: голос его порою слегка дрожал… Шнейдер слушал его молча, не возражая и все глядя куда-то в сторону.

— А, так вот как было дело!.. — заговорил он, когда старик кончил. — Скажите, пожалуйста!.. Мне очень жаль, господин Запольев. Такой грустный, прискорбный случай!.. Да… А Рунич, представьте, совсем иначе передавал мне…

Старик улыбнулся и молча пожал плечами.

— Да он, представьте, жаловался на вас, г. Запольев, — продолжал Шнейдер. — Говорил, что вы к нему… вы… как бы это сказать… придираетесь, — робко, вполголоса проговорил он. — Что вы всегда относились к нему иронически. Он все терпел и терпел, наконец, не выдержал… Он сознает, что выразился грубо и резко, но, говорит, что был доведен до этого, что не мог… гм… не мог поступить иначе. Он назвал вас… назвал, кажется… — замялся Шнейдер.

— Нищим, Густав Адольфыч!.. — И кровь опять бросилась в лицо старику. — Положим, нищий — не бранное слово… Бедность не преступление, и человек не всегда виноват в том, что ест черствый кусок хлеба, добытый тяжким трудом, а не сладкие пироги… Да, наконец… наконец, это слово вполне подходит ко мне… — И грустная, страдальческая улыбка пробежала по губам Андрея Ивановича. — Я хладнокровно выслушал бы такое слово, Густав Адольфыч, но… только в таком случае, если б оно не было произнесено с таким глубоким презрением зазнавшимся богачом мальчишкой перед лицом всего класса. Ведь, тут… тут школьная дисциплина… Теряется авторитет личности. Вы понимаете? так нельзя…

Андрей Иваныч умолк. Он был сильно взволнован.

Молчал и Шнейдер. Ему было что-то не по себе. Он тоже как будто что-то хотел сказать, но, видимо, не решался.

— Вот видите, господин Запольев, — заговорил, наконец, директор, и легкая краска показалась

у него на лице, — я все понимаю… Да, вполне понимаю… Этот Рунич — дерзкий, самоуверенный мальчишка, и я… Вы знаете, господин Запольев… Ко мне сюда, с час назад, приходили ученики шестого класса…

— Нет, я не знал, — отвечал старик.

И вдруг на сердце у него сделалось как-то легче, отраднее.

— Да, все приходили и жаловались на Рунича, — продолжал Шнейдер. — Они говорили об этом его дерзком поступке; просили его наказать как можно строже; просили даже совсем исключить из гимназии. Говорили, что не желают, не могут учиться с Руничем; что он давно им всем надоел — его гордость, высокомерие выводят их из терпения… Да, это все так, все так, — понимаю… Но, видите, господин Запольев… тут существует одно обстоятельство… да, которое…

Краска все ярче и ярче выступала на полных щеках Шнейдера.

— Рунич — единственный и любимый сын у отца… Вы понимаете… А этот старый негоциант очень богатый и очень влиятельный человек… Ведь, если б я исключил его сына, он… Но что ж говорить? вы сами должны это хорошо понимать, господин Запольев… Связи… влияние… толки разные… разговоры… И результат: не пролет и года, и из моей гимназии выйдет десятка два сыновей таких же богатых и влиятельных папенек… А мои дела не блестящи. И вы понимаете…

Андрей Иваныч понимал. Шнейдер, совсем пунцовый, глядел куда-то в сторону, а старик глядел на него с полу-грустной, полу-насмешливой улыбкой. И думал он о «своей рубашке, что ближе к телу»; думал о людях, которым всего дороже на свете их личное счастье, богатая обстановка, их домашний комфорт. И что за дело им, этим людям, до других, — бедных, забитых и загнанных!.. Пусть оскорбляют их, обижают, смеются им прямо в глаза… Какое им дело до них! Лишь бы им самим хорошо было!.. И гадко как-то стало на сердце старика; гадко, но вместе с тем и невыносимо грустно. И Андрей Иваныч приготовился слушать, что скажет дальше директор. А он знал, что тот скажет, предчувствовал.

— Так вот, господин Запольев, — продолжал Шнейдер, все еще глядя куда-то в угол и все такой же пунцовый, — вы понимаете, в чем тут дело… И я… я… (пунцовый цвет стал превращаться в багровый). Вы человек умный… вам ничего не стоит… Мальчишка глупый, самоуверенный… Вы покажите вид… да, только вид… а там…

Он замолчал и, по-видимому, собирался с духом.

— Да, только вид… продолжал он. — Вы из… вы извинитесь перед ним, господин Запольев! — вдруг точно выпалил Шнейдер и отвернулся.

Андрей Иваныч вскочил. Он просто ушам не верил.

— Как!?.. извиняться?.. мне?.. — еле-еле выговорил старик.

— Да. Я покорнейше вас просил бы… Для виду… для виду только, — шептал директор.

Андрей Иваныч стоял точно окаменелый. «Для виду… для виду только!..», раздавалось у него в ушах. Старику… перед дерзким, нахальным мальчишкой!.. И вдруг мысль, страшная мысль мелькнула у него в голове:

«Уволит со службы… выгонит!.. Господи!.. Что же станется с Зиной!?..»

И точно ножом ударило старику в сердце.

— Густав Адольфыч!.. — глухо, чуть слышно проговорил он.

Шнейдер робко поднял глаза и — изумился. Пред ним стоял точно другой человек. Куда вдруг девался этот распрямленный стан, эта гордо поднятая голова. Пред ним стоял согбенный, дряхлый старик, с каким-то запуганным выражением лица.

— Я… я извинюсь перед ним, Густав Адольфыч… — лепетал старик.

— Ну, вот… вот, отлично!.. Благодарю вас, благодарю, господин Запольев.

И Шнейдер крепко сжимал холодную, дрожащую руку учителя. Но он не смел, взглянуть ему прямо в глаза.

— Пожалуйте, васс…кродие, — говорил бравый унтер, подавая Андрею Иванычу его старенькую шинель с облезлым бобровым воротником.

«Да что это с ним такое? думал он. — На нем лица нет!.. Уж не распек ли его там дилехтур-то? Только за что, кажись?.. Старик-то уж он такой, — душевный. Мухи, поди, в жизнь не обидел…»

— Спасибо!.. я сам, Михеич… я сам!.. — И Андрей Иваныч протянул руку за шинелью. — А ты мне скажи, голубчик… скажи… не проходил ли тут этот… Рунич?..

— Только-что вышел, васс…кродие… Сейчас вернется…

— А-а… хорошо. Я подожду немного. Мне, видишь, надо там сказать ему кое-что… передать… А ты… ты ступай, Михеич… Спасибо!.. Я сам надену… Ступай!..

— Слушаю, васс…кродие!

И Михеич скрылся, еще раз окинув удивленным взглядом Андрея Иваныча.

Старик прислонился к перилам лестницы, ведущей в третий этаж, в дортуар. Ноги его дрожали. Сейчас вот, по этой лестнице, пойдет Рунич… А, вон он!..

Все тот же гордый, высокомерный, с высоко поднятой головой, Рунич прошел в двух-трех шагах от Андрея Иваныча и стал подниматься по лестнице. Бог весть, заметил ли он старика или нет, но только не обратил на него никакого внимания.

— Рунич!.. — хрипло окликнул Андрей Иваныч, точно ему кто сдавил горло.

Но Рунич не повернул головы и продолжал подниматься.

— Рунич!.. — опять повторил старик.

Но тот уже скрылся за поворотом.

Андрей Иванович минут пять простоял в раздумьи. Но вдруг он махнул рукой и быстро вышел на улицу.

IV.

Малютка Зина.

А дождик все шел да шел. По серо-свинцовому небу, как клубы дыма, катились темные облака. Мрачный, задумчивый, в старой шинелишке, без калош, брел Андрей Иваныч по улицам города. Перед ним высились громадные каменные дома, испещренные по всем направлениям вывесками; роскошные магазины, в зеркальных стеклах которых местами уже вспыхивал газ. Кареты, коляски, телеги ломовиков, разносчики и разносчицы с лотками фруктов, студенты, мастеровые, поденщики встречались на каждом шагу. Но Андрей Иваныч ничего не видел, не слышал. Не замечал он, как дождь все усиливался и усиливался, и только тогда очнулся, когда тот полил, как из ведра, и вода чуть не потоками полилась за его старенький воротник.

Андрей Иваныч прибавил шагу. Но он шел все так же, задумавшись. Порой старика толкали очень чувствительно; порою, почти за самым плечом его появлялась лошадиная морда и слышался грубый оклик:

— Берегись! эй!.. Чего зеваешь, ворона! И Андрей Иваныч отскакивал в сторону.

Но вот он прошел все главные улицы города. Каменные дома с роскошными магазинами стали попадаться все реже и реже. А вот, наконец, и предместье — самая отдаленная, глухая часть города.

Здесь жил больше бедный, рабочий люд: мастеровые, студенты, маленькие чиновники. Непомерно высокие цены квартир в центре города, здесь, — в деревянных, по большей части одноэтажных домах, с мезонинами — уменьшались почти вполовину. Но, впрочем, и тут не особенно дешево было жить. Две небольших комнатки с кухней стоили не дешевле 10–12 рублей в месяц. Местность была очень глухая, пустынная, но зато красивая, даже живописная, особенно летом. С одной стороны виднелась река, не широкая в этом месте, за рекой — деревушки, лес. С другой тянулись длинные огороды.

Андрей Иваныч вошел в калитку какого-то серенького домика с палисадником и постучался. Ему отворила старуха.

— Что Зиночка… дома? — спросил он. — Пришла из класса?

— Пришла, барин, вас дожидается. Стол уж давно накрыт.

— Да, запоздал маленько, позадержали…

Андрей Иваныч прошел в темную, маленькую прихожую.

— Папочка, что ты так долго, милый?.. — послышался тоненький серебристый голосок. — А я-то ждала, ждала… Думала суп простынет.

— Погоди, Зиночка, не входи… Мокрый я, — с головы до ног вымок… Сейчас разденусь, голубка!

Андрей Иваныч торопливо сбросил шинель, вытер платком лицо и вошел в комнату.

Комната была очень маленькая, просто, даже бедно меблированная, но зато чистенькая и светлая, и вся сплошь уставленная цветами. Цветы были везде: и на узеньких подоконниках, и на скамеечках, на полу, даже у печки, на небольшом круглом столике, — всюду виднелись горшки и горшочки, с фуксиями, геранями, астрами.

— Бедненький ты мой, голубчик!

И девочка бросилась старику на шею. Он ее крепко обнял, поцеловал.

— Какой ты холодный, папочка!.. Ты озяб?.. очень озяб?.. устал?..

— Нет, ничего, Зиночка, не беспокойся! — И старик гладил ее мягкие, шелковистые волосы. — Я не озяб, совсем не озяб… Так, вымок маленько.

— Вымок?.. Ах, Господи!.. Ноги опять промочил, верно… да?.. Вытереть надо их уксусом с водкой — сейчас же вытереть!.. Ах, да, ведь, водки-то у нас совсем нет, — вспомнила вдруг она. — Марфа! Марфа!

— Не надо, не надо, Зиночка! — остановил ее Андрей Иваныч. — Да и с чего ты взяла, что я промочил ноги?.. Нисколько не промочил!.. Подошвы-то, ведь, у меня еще крепкие.

— Да, знаю я.

— Верно, тебе говорю!.. Ты лучше вот лампу зажги, малютка, да вели подавать обедать. Проголодалась ты у меня, бедненькая.

— Нет, папочка, нисколько не проголодалась. Я недавно кофе пила со сливками, — Марья Ивановна заходила…

Зиночка зажгла столовую лампу, и она осветила худенькое, умное личико с темно-карими, выразительными глазами. Трудно было определить, сколько лет этой девочке. По росту ей можно было дать лет тринадцать или четырнадцать. Маленькая и худенькая, с тонкими ручками, она казалась совершенным ребенком, и ребенком слабеньким и больным; но умное, серьезное личико и глаза, с каким-то задумчивым выражением, делали ее похожей чуть не на взрослую женщину. Густые темно-русые волосы, перехваченные голубой ленточкой, рассыпались у нее по плечам. Одета она была в простенькое, но чистое платьице и вообще смотрела очень милой и симпатичной. Даже довольно заметный горб на спине не особенно портил ее худенькую фигурку.

Через четверть часа отец с дочерью сидели уже за обедом. Зиночка хлопотала и суетилась; она выбирала отцу самые лучшие и вкусные кусочки говядины и подкладывала на тарелку, в то же время оживленно болтая. Она рассказывала, как приходила к ней Марья Ивановна и пила кофе… Недавно вот, с час назад.

— И такая она, право, странная женщина! — говорила Зиночка. — Муж у нее жалованье прекрасное получает, да, кроме того, доход еще, говорят, с именья не маленький… Детей только двое… Чего бы, кажется, слава Богу!.. жить можно. А все жалуется, папочка, на недостатки, все жалуется… Просто досадно даже!.. Да, кстати, — вспомнила вдруг она, — платье мне принесла, сшить просила. Работы немного будет, дня на два… так, между делами займусь… А рубль заплатить обещала! — не без гордости заметила девочка. — Деньги небольшие, правда, а все, глядишь, дня на два на обед хватит. Да что с тобой!.. вдруг испугалась Зина. — Ты не здоров, папочка?.. скучный такой?.. и не кушаешь… Вон у тебя тарелка не тронута. Что с тобой?

Андрею Иванычу как-то не до еды было. Он сел за стол с веселой улыбкой; с веселой улыбкой слушал и болтовню Зиночки, но только не ел почти ничего. Старик старался казаться веселым, а мысли, одна мрачнее другой, все так и лезли в голову.

«Э, как-нибудь, думал он, — обойдется! Никто, как Бог!..» И вдруг: «рубль... небольшие деньги, а. все, глядишь, дня на два на обед хватит...»

Точно ножом кто ударил в сердце бедного старика. Он побледнел.

— Что с тобой, милый?.. Ты не здоров? — говорила девочка.

И веселость, точно по волшебству, исчезла с ее худенького личика; оно стало грустное и печальное.

— Вон, посмотри, как ты побледнел, папочка!

Старик улыбнулся.

— Нет, ничего, Зиночка, я совершенно здоров.

— Здоров?.. Так ты расстроен чем-нибудь?.. да? На службе неприятности вышли какие-нибудь?

И Зиночка взглянула на отца долгим, пытливым взглядом.

Тот опустил глаза.

— Ничего, Зиночка, право же ничего не вышло... — пробормотал он.

— Как ничего!.. — И в голосе девочки послышался укор. — Ты говоришь: ничего... ты скрываешь!.. и от кого?.. от меня, от твоей маленькой Зины!..

Ну, мог ли вынести бедный отец этот грустный, кроткий упрек от своей любимицы? Нет, он ей все расскажет.

— Да, вышло кое-что, милая... Но ты не пугайся, не беспокойся... Все пустяки! Перемелется — мука будет.

И он рассказал ей, как было дело.

Зиночка слушала молча, не прерывая. Ея худенькое, бледное личико то вспыхивало вдруг краской негодования, то еще больше бледнело.

— О, как это гадко... скверно... бессовестно!.. — чуть слышно шептала она.

Но вот старик кончил.

— И это ты, папочка, зовешь пустяками! — вскричала она, и ее карие глазки сверкнули гневом. — Так что ж после этого не пустяки?.. И неужели-ж тебе перед ним, перед этим мальчишкой извиняться было!.. Да ты... ты, папочка, не из-ви-нился ли?.. — спросила она его вдруг чуть не с ужасом.

— Нет, моя дочка... Что ты!.. Я...

Она глубоко вздохнула. Точно гора скатилась у нее с плеч. Ея умное, серьезное личико просветлело, и даже на нем мелькнула улыбка.

— И ты хорошо сделал, папочка, хорошо!.. — говорила она. — Ты не мог извиниться... не должен... Ты слышишь: *не должен!..* Да! Ты сам не раз говорил: человек, в каком бы он

положении ни был — бедным нищим — должен себя уважать и ни в каком случае не унижаться… Иль ты забыл это, папочка?

Старик грустно понурил голову и долго молчал. Но вот он опять поднял ее и как-то робко, смущенно взглянул на дочь.

— Нет, не забыл, Зиночка… но, видишь, дитя мое…

— Что же?

— Да, надо уладить все это как-нибудь… поправить…

— Как поправить?

— Да так… как-нибудь… Ведь, мне после этого нельзя и оставаться в гимназии… Рунич Бог знает, что может позволить себе.

— И прекрасно — не оставайся!

— Но как же, дитя… — забормотал он. — Иль ты забыла, что шестьдесят рублей… Чем же мы жить будем? Как ты, моя милая…

— Я?.. Так вот оно дело в чем!.. Ты обо мне толкуешь?.. Послушай, папочка… Я вот сейчас…

Она вскочила из-за стола и тотчас вернулась с чернильницею в одной руке и пером и листком почтовой бумаги в другой.

— Вот тут бумага, перо — пиши!.. Пиши, что ты отказываешься от уроков.

— Но, Зиночка… — робко забормотал старик.

— Да, и с завтрашнего же дня прекращаешь уроки в гимназии. Я так хочу, папочка… слышишь ты: *я* хочу!.. Так вот он меня, чем напугать вздумал!.. — вдруг как-то горько усмехнулась она. — Шестьдесят рублей в месяц!.. Да Господь с ними… Мы их найдем в другом месте, честно трудясь и ни капли не унижаясь… Ты что так на меня посмотрел, папочка?.. Ты хочешь сказать: откуда нам взять шестьдесят рублей? Ну, пятьдесят, сорок, тридцать… Мы переменим квартиру, найдем одну комнатку маленькую, рублей в пять — шесть… Я буду работать: вязать, шить. Ты… Но разве ты тоже не найдешь дела?.. Ты, папочка?.. Умный мой, добрый, честный!.. Бедность?.. Да разве мы не знакомы с ней!.. Ты забыл, как мы жили в третьем году?.. Ведь, мы…

Но Андрей Иванович не дал ей кончить. Он вдруг привлек к себе дочь и крепко, крепко прижал ее к сердцу.

V.

Страничка из прошлого.

Судьба никогда особенно не баловала Андрея Ивановича. Сын маленького чиновника в уездном глухом городишке, он с детства еще познакомился с бедностью и нуждой. Порой и теперь вспоминаются старику эти минувшие дни. Вот в старом, худом пальтишке, перешитом из отцовской шинели, в стареньких сапогах, в осеннюю слякоть по грязи и лужам, зимой — по сугробам снега, Андрюша бегает в городское училище. Он там первый ученик; учителя им нахвалиться не могут.

И Андрюша всю ночь напролет готов был сидеть за книгой. Да летом он так и делал: на севере, ведь, летние ночи светлы. Ну, а зимой… зимой дело другое… Порою в семье чиновника недоставало денег на свечки: тогда уж не до чтения было. Да, помнит, вот как теперь, старик эти детские годы и, вспоминая их, даже плачет порой (конечно, потихоньку от Зиночки).

А годы шли. Умер отец, умер младший братишка Вася; сестра Таня замуж вышла и тоже за маленького чиновника. И вот Андрюша в губернском городе, в четвертом классе гимназии. Ему пятнадцатый год, но он уж знаком с трудом из-за куска насущного хлеба. Он рыщет по грошовым урокам и ухитряется на эти гроши не только содержать мать-старуху, а даже выслать порой из них рублишка два-три сестре. (Живет она в крайней нищете!..).

Кончен курс и в гимназии; старуха-мать умерла, и Андрюша, с аттестатом в одном кармане и с синей пятирублевой бумажкой в другом, отправляется в Петербург. Порой его подвезет какой-нибудь мужичок за гривенник, за пятиалтынный; порой «на своих, на двоих» он месит босыми ногами непроходимую грязь почтовых дорог (сапоги из экономии сняты и висят за спиной). И вот, наконец, после разных мытарств, Андрюша в столице. Он поступает туда, куда еще с детства стремился пылкой душой, в то здание на Васильевском острове… Ну, а

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь…

И Андрюша не трусил… Работал он тоже, как вол: лекции и Публичная библиотека, и книги, книги, книги… Порою долгие, оживленные разговоры, мечты и планы, и споры вплоть до рассвета где-нибудь в тесной и душной комнатке, при тусклом свете свечи, чуть-чуть мелькавшей сквозь облака табачного дыма… И опять книги и книги… Шныряние по урокам с Песков на Васильевский остров, к Нарвской заставе (это для пропитания) и переписка.

Но вот, наконец, и курс университета окончен, и окончен блистательно. Диссертация на магистра русской словесности в свое время наделала шума и о ней немало говорили в газетах. Андрея Иваныча определили учителем в одну из петербургских гимназий. Казалось, судьба, наконец, улыбнулась ему. Не нужно уж было шнырять по урокам в летнем пальтишке и осенью и зимой, рискуя здоровьем. Теперь Андрей Иваныч жил в чистенькой, уютной квартирке и не только без всякой нужды, а даже с некоторым достатком. Ученики полюбили его, и он тоже полюбил их: среди них ему попадалось не мало честных, хороших и даровитых юношей. Он приглашал их нередко к себе. И много чего говорилось, читалось и объяснялось в этом маленьком, чистеньком кабинете, за стаканами чая.

Но вот Андрей Иваныч женился и женился несчастливо. Жена попалась ему не такая, какую бы он хотел. Это была сухая, черствая женщина, вся погруженная в мелочные, копеечные расчеты. У нее была одна страсть — копить деньги, как она выражалась, «на черный день». Она то и дело требовала, чтоб муж добывал этих денег, как можно больше.

И Андрей Иваныч, и без того сильно занятый в гимназии, искал частных уроков и находил их. Доходы семьи увеличивались, а здоровье, уже и прежде подорванное от чрезмерных трудов, заметно пошатывалось. Но Андрей Иваныч молчал и не жаловался, а Анна Семеновна, вся погруженная в хозяйственные расчеты и думы о «черных днях», и не замечала даже, что муж ее все худеет, бледнеет. Получая от него трудовые деньги, она заботливо припрятывала их и в то же время сокращала расходы на самое необходимое. Порой она даже косилась и ворчала на мужа за каждый лишний стакан чая, выпитый его гостем.

Но вот родился ребенок, дочь, и Анна Семеновна стала копить «для дочери». Андрей Иваныч, отвергавший все «черные дни», и сам теперь понимал, что деньги нужны: ведь, надо подумать

о воспитании, о прочем. И он работал, просиживая напролет ночи, не обращая внимания на воркотню жены, что «свечей много выходит». А здоровье скрипело, надламывалось.

Но Андрей Иваныч не свалился, как этого следовало ожидать: его поддерживала энергия, цель в настоящем, цель в будущем… Свалилась Анна Семеновна. Всю осень она щеголяла в летнем бурнусе, жалея денег на шубу, и схватила жестокий тиф. Андрей Иваныч не жалел накопленных денег, но все напрасно: Анна Семеновна умерла. Всю жизнь, заботясь о «черных днях», она не дожила до них…

У Андрея Иваныча осталась на руках дочь, которую он горячо любил. Зиночке было в то время лет восемь, но на вид казалось не больше пяти: таким она была худеньким и слабым ребенком, с горбиком на спине: пьяная нянька выронила ее из люльки… Андрей Иваныч и прежде страстно любил свою Зиночку, хотя Анна Семеновна почему-то не особенно благоволила к ней, да, впрочем, к кому и к чему благоволила она, кроме денег? Но теперь он полюбил Зину еще больше. Девочка не походила на прочих детей: она никогда не шалила и не капризничала. Детские игры и развлечения нисколько не занимали ее. Ей было не больше пяти-шести лет, как отец исподволь, полегоньку выучил ее грамоте, и она, как и он в детстве, полюбила чтение. По целым часам иной раз, забившись где-нибудь в уголок, Зиночка сидела за книжкой.

Итак, Андрей Иваныч остался один с дочкой. Работы у него было по-прежнему много, и он зачастую просиживал напролет ночи в своем маленьком кабинетике. Деньги, накопленные женой (их было немного), разошлись туда и сюда: на лекарства, на похороны. Но скоро и ночные работы Андрея Иваныча прекратились.

Раз как-то в глухую осеннюю полночь сидел он за письменным столом, глубоко задумавшись. Вдруг маленькая, тепленькая ручка опустилась ему на плечо. Он поднял голову. Перед ним в одной юбочке, с накинутым на плечи платком стояла Зина. Андрей Иваныч изумился.

— Зиночка! Бога ты не боишься!.. — вскричал он, — ты до сих пор не спишь…

— Да, не сплю, папочка… Я и вчера не спала, и третьего дня.

— Ка-ак?!.

— И до тех пор не буду, пока сам ты будешь не спать… Ты мне сказал: Бога ты не боишься!.. Ну, а *ты*, папочка?.. Разве не понимаю я, что тебе вредно много работать: ты в эти дни так осунулся, похудел…

— Тебе это просто так кажется, Зиночка.

— Нет, вовсе не кажется, милый… Разве не вижу я?.. Да, папочка, — грустно говорила она, — не я не боюсь Бога, а *ты*!.. Ты не жалеешь своей маленькой Зины! Да разве могу я спокойно спать, когда ты не спишь? разве буду здорова, когда ты не здоров?

Отец пристально поглядел на дочь, на ее худенькое, бледное личико. Оно было такое умненькое, серьезное, но такое грустное… Андрей Иваныч ничего не сказал. Он только крепко поцеловал девочку и уложил ее опять в постельку. Минут через пять Зиночка увидала, что огонь в кабинете отца погас, и в эту ночь она заснула спокойно. Зато Андрей Иваныч долго не мог уснуть: все думал, думал… И с этих пор он больше уже не просиживал ночей напролет.

А непосильные труды, в конце концов, привели к тому, что Андрей Иваныч заболел, и заболел очень серьезно. С полгода пролежал он в постели, и чуть не все его жалованье целиком уходило на докторов и аптеку. Наконец, он поправился, но чувствовал себя еще настолько

слабым, что не мог заниматься уроками и подал в отставку. И вот с этих пор начались испытания. Все, что только можно заложить и продать — было продано и заложено. Из чистенькой уютной квартирки в три комнаты, Андрей Иваныч с дочкой перешел в маленькую, сырую комнатку на Песках. И зажили они, изо дня-в-день перебиваясь кое-как случайными уроками да перепиской. Бедняк изменился ужасно: в сорок пять лет он смотрел стариком: осунулся, сгорбился, поседел. Он даже как-то упал духом; энергия в нем ослабела. Страдал он невыносимо, но только не за себя — за дочку. Он с каждым днем все больше и больше любил ее и удивлялся ей. Да, впрочем, и не мудрено было: она в четырнадцать лет походила на взрослую женщину. Зина и виду не подавала, как им тяжело, трудно живется. Напротив, она всегда была деятельна, жива и помогала отцу, в чем только могла. Она утешала его, говорила о лучших днях, о том, что дела их поправятся. И кто бы со стороны мог подумать, сколько силы воли, сколько характера скрывается в этом худеньком, слабом теле! Андрей Иваныч чуть не молился на дочь!

Но вот, наконец, и в эту сырую и темную комнатку заглянуло солнышко. В одно прекрасное утро принес почтальон письмо, и в этом письме старинный друг Андрея Иваныча предлагал ему место учителя русской словесности в частной гимназии Шнейдера, с жалованьем в шестьдесят рублей в месяц.

«А кроме того», писал он, «и частные уроки можно достать. Затем, дочка у вас подрастает, мы и ее поместим в гимназию. За первый год заплатим, конечно. Ну, а там, Бог даст, будет она хорошо учиться — стипендию ей дадут. Приезжайте!»

Андрей Иваныч ожил…

VI.

Тяжелые дни.

Ночь. В воздухе тихо, морозно; мягкий серебряный свет заливает пустынные улицы. Ни души не видно на них. Изредка разве проедет извозчик на заморенной и полусонной лошадке. На колокольне где-то пробило три часа. В окнах везде темно. Только в одном каменном доме зеркальные стекла льют целое море света на улицу. Слышатся звуки музыки; мелькают пары.

Да, еще рано для города, хоть и ночь. Но там, в предместье давненько уж началось утро. Давненько уж зажглись огни в этих маленьких деревянных домиках; застучали молоты, молотки; завизжали пилы, напильники. Из труб показался дымок синеватыми струйками.

Охая и кряхтя, приподнялась старая Марфа на печке и заглянула в окно, прихотливо разукрашенное морозом. В него лились потоки лунного света и освещали давно небеленые стены кухни и бойко снующих по ним тараканов. Старуха зевнула, перекрестилась.

— Кажись, рано еще! — пробормотала она и опять закрылась с головой тулупом. — Экий, ведь, холодище-то!

Дверь скрипнула, отворилась, и на пороге ее показалась маленькая фигурка.

— Марфушка! Марфа!

— Асеньки?.. Кто там?

Старуха свесила с печи голову.

— Барышня! Царь Небесный! — удивилась она. — Да что вы экую рань поднялись!.. Поди, часа три, не больше?

— Нет, уж четыре скоро. Дошить мне надо кой-что, голубушка, так вот и встала.

— То-то вот встала… дошить!.. — ворчала старуха, слезая с печи.

Она чиркнула спичкой и зажгла лампочку.

— Вон ты уж, который день спозаранку встаешь!.. Ведь, этак и заболеть можно, Зинушка… Глянь-ка, как ты похудела да побледнела!

Тусклый свет лампочки осветил Зину. В эти последние два-три месяца она почти нисколько не изменилась. Все то же спокойное, энергичное личико; только, как-будто, оно стало еще бледнее и еще похудело…

— Э, ничего, Марфушка! — весело говорила она, — не заболею… Вот только ты папочке, ради Христа, не сказывай…

— Чего?

— Да что я рано встаю.

— А он нешто не знает?

— Не знает, Марфушка… Я уж его, ведь, давненько… давненько обманываю… — как-то замялась она. — Все говорю, что в восемь часов встаю, а встаю в три, в половине четвертого… Ты уж не сказывай… Он беспокоиться будет.

Марфа взглянула на нее, но ничего не сказала. Она только глубоко вздохнула и отвернулась.

— Чего мне сказывать, не скажу… — пробормотала она. — А только по-моему, Зинушка… Ну, да ладно… Что ж, самоварчик, что ли поставить?

— Рано еще… самоварчик… — Зиночка вдруг смешалась и покраснела. — Вот видишь, Марфушка, — робко заговорила она. — Чаю-то у нас ни щепотки нет… Вчера я ходила в лавочку, просила его… Господи, как просила! «Нет, не могу, барышня!» Ты бы, Марфушка… знаешь… сама бы сходила… на свое имя…

— Да у меня есть чай-то. Бери, сколько хочешь.

Зиночка повеселела.

— Ну, вот, и спасибо, голубушка!.. Я получу вот уже из магазина, отдам… мне там, ведь, двенадцать рублей получить приходится… Я и тебе отдам три-то рубля… Уж ты прости, ради Христа, подожди немного…

Старуха сердито закашлялась.

— Да что ты, Христос с тобой! — обиделась вдруг она. — Креста у меня на себе, что ли, нет!

— Ну, полно, не сердись, милая… Я, ведь, так…

— То-то вот так!.. пустого-то ты не болтай тоже… Не понимаю я нешто, как вам сладко

живется? маленькая я? Так не достал еще места-то? — спрашивала она, сердито проталкивая в самовар ни в чем неповинные уголья. — Ведь, обещали, кажись.

— Да что в обещаньях-то этих!.. — с горечью говорила Зиночка. — Уж лучше бы так и сказали: «нет места!», а то: «наведайтесь» да «наведайтесь». Не достал!.. месяц ходил, изо-дня-в-день обивал пороги… Морозы теперь стоят, а у него пальтишко осеннее, да и калош теплых нет… — У нее навернулись на глазах слезы. — Спасибо, нашелся там адвокат один, дал переписку, по двугривенному с листа. Ну, рублей 8–10 получит… А там…

Зиночка замолчала.

Старуха тоже молчала и что-то сердито копошилась в углу.

— Ты много-то ему тоже не давай писать, Зинушка, — заговорила она. — Не позволяй! Ведь, он день-деньской, с утра самого да почитай до ночи, все скрипит да скрипит пером. Спины, ведь, не разгибает… Руки дрожат… Этак долго ли до греха?

Зиночка отвернулась. На лице ее мелькнуло отчаяние, в глазах засверкали слезинки.

— Да и сама-то тоже не очень… — продолжала старуха. — Спозаранок-то не вставай!.. Кашлять, вот, начала. Грудка болит, что ли? Ты никак плачешь?

Зиночка поспешно смахнула слезы и отвернулась.

— Плачу? Я плачу? Да что ты, Марфушка!.. Так, что-то мне в глаз попало… Да вот еще что, голубушка… Дрова-то у нас есть?

— Дрова-то? Да полен пять разве.

— Как же так… А там, у папочки в комнате холодно, хоть тараканов морозь. Сегодня же истопить надо.

— Так что ж? я у соседей возьму. Кузьмич, вон, столяр, он даст.

— Да, попроси, голубушка… Холодно!

— А у тебя там не холодно?

— У меня? Нет… Да у меня, ведь, кофточка есть на вате, теплая-претеплая. А у него халат старенький… Так ты уж, пожалуйста, милая… вот получу, отдам. И о чае-то тоже не говори папочке, и о дровах… не расстраивай!.. А самовар еще рано, часов этак в семь поставь… Пускай он поспит, голубчик… А я пойду, дошивать надо.

И Зиночка вышла.

Старуха поглядела ей вслед и только головой покачала.

В холодной, давно уж не топленой комнате горела лампа под абажуром; мороз сверху донизу изукрасил стекла окна. Зиночка села за стол, заваленный сметанными полосами материи, и принялась за шитье… Иголка быстро мелькала в ее тоненьких, покрасневших от холода пальчиках. И долго сидела она, склонясь над срочной работой… Порой она поднимала голову и к чему-то чутко прислушивалась. Но все было тихо; только стенные часы мерно почикивали в соседней комнате. Вот и шесть пробило… семь…

— Спит еще! — шептала Зиночка. — Пусть спит, голубчик!.. Вчера он поздно лег.

И иголка опять замелькала у нее в пальчиках…

Но вот послышался за стеной тяжелый, протяжный вздох. Зиночка вздрогнула; рука ее потянулась к фитилю лампы и уменьшила огонь. Вот-вот проснется отец, закашляет — она мигом погасит лампу и притворится, что спит…

Но Андрей Иваныч спал еще, крепко спал. Усталый, измученный перепиской, он лег в двенадцать часов. Ему не хотелось спать, но он раз навсегда дал слово Зиночке не засиживаться подолгу… Он слышал, как пробило час, потом два, три и все не мог глаз сомкнуть, все ворочался с боку на бок. И, Боже, чего-чего он только ни передумал!

Андрей Иваныч зажег спичку и взглянул на часы. Они показывали четверть восьмого. Старик накинул халат, надел туфли и, пробравшись на цыпочках к двери комнаты Зиночки, приотворил ее. Там было темно и тихо.

«Спит еще, видно, малютка», подумал Андрей Иваныч. «Господь с ней! А может, не спит?..»

— Зиночка! — чуть слышно окликнул он. — Ты не спишь?

— Нет, папочка. Я только сейчас проснулась.

— А рано легла вчера?

— Да около часу, кажется. А ты, каково спал, милый?

— Я? Хорошо… хорошо, Зиночка. Самоварчик велеть поставить?

— Да я уж распорядилась.

— Как? — удивился старик. — Когда ж ты успела?

— А долго разве? Сейчас будем чай пить.

— Чай… Ах, Господи! Я и забыл совсем… — вспомнил Андрей Иваныч. — У нас, ведь, нет чаю.

— Как нет?

— Да я вчера заглянул в чайницу — хоть бы пылинка. Ты разве купила, Зиночка?

— Да, купила, — храбро солгала девочка и покраснела под одеялом.

— А… Так у тебя деньги были… А я думал все вышли.

— Нет, еще оставались… мелочь какая-то… — опять солгала она.

Минут через пять отец с дочерью сидели за чайным столом. Пузатый, ярко вычищенный самовар весело пофыркивал, пуская целые облака пара. Явился и чай, и сахар, и даже ситник откуда-то (об этом уж надо было спросить у Марфы). И Зиночка, как и вчера, как и третьего дня, худенькая и бледная, но совершенно спокойная, с веселой улыбкой наливала отцу стакан. А отец сидел мрачный, задумчивый и как-то рассеянно слушал ее болтовню. Сердце у старика ныло, болело… Зиночка вдруг умолкла.

— Да что с тобой, милый? — спросила она. — Ты о чем задумался?

— Я? — встрепенулся старик. — Да ни о чем, голубка. Так, в голову вот пришло… Еще два листа переписать мне осталось. Кончу я после чаю, снесу. Ну, вот и подумал: застану ли я адвоката-то? отдаст ли он деньги?..

Брови у Зиночки слегка дрогнули.

— Ну, как не отдаст? он, говорят, такой аккуратный!

«А не отдаст?» мелькнуло в голове старика. «Ведь *она* без обеда останется!»

То же самое подумала и об отце Зиночка. И сердце у обоих сжалось. Старик грустно молчал, а Зиночка… Зиночка улыбалась…

VII.

На горизонте нечто виднеется.

В кухонной печке ярко пылал огонь; Марфа, с засученными по локоть рукавами, хлопотала и суетилась.

В сенях послышались чьи-то шаги, кашель; дверь отворилась, и в кухню вошел мужчина, лет за сорок. Он снял облезлую меховую шапку и покрестился на образ; потом стал счищать с бороды и усов ледяные сосульки.

— Марфе Захаровне наше вам-с! — за-говорил он осиплым голосом.

— На! да это Кузьмич никак? — удивилась старуха. — Откуда Господь Бог несет? Садись, гостем будешь!

— Благодарим покорно! — Кузьмич присел. — Был у обедни, Марфа Захаровна, у Воскресенья… Певчие славно пели!.. Ну, а потом… потом завернули с Семен Семенычем в трактирчик чайку попить…

— Ой, полно, чайку ли? — улыбнулась старуха. — Уж не того ли, что за печатью?

— Хе!.. Точно оно, грешен! Только сперва чай…

— То-то у тебя нос красный.

— С морозу, Марфа Захаровна. Холод — не приведи Бог! Точно, мы по три рюмочки пропустили только… А я за делом, Марфа Захаровна. Барин-то у вас дома?

— Да он на что тебе?

— Дельце там есть одно… Доложите!

— Какое дельце?

Старуха ушла, и через минуту вернулась.

— Дома. Ступай! — говорила она. — Да сапоги-то обколоти маленько… Глянь-ка, снегу-то натащил!..

— И не заметил!

Кузьмич старательно обколотил сапоги и на цыпочках, точно в доме был трудно больной, последовал за старухой.

Андрей Иваныч сидел и писал. Кузьмич стал у порога, быстро оглянул комнату, тряхнул головой и раскланялся.

— Что скажешь, голубчик?

— Да вот, к вашей милости… дельце одно…

Кузьмич опять поклонился.

— Дельце? какое дельце?.. Да ты чего стал у порога-то? сядь!

— Благодарю покорно. И постоим-с…

— Садись, говорю.

Кузьмич сел и опять оглянул комнату.

— Ты, ведь, сосед наш, никак? Столяр?

— Точно так-с.

Кузьмич кашлянул.

— Много наслышан о вашей милости, — заговорил он. — Учителем состоите?

— Да, был. А что?

— Да вот, изволите видеть-с… Осмелюсь побеспокоить, Андрей Иваныч… Сынишка есть у меня. Шустрый, куда какой шустрый парнишка!.. В августе ему четырнадцать лет минуло. Кончил городское училище… Кажись, довольно, чего бы? Грамоту разумеет. Для нашего брата, мастерового вполне достаточно, даже много-с… Да только нет! Хочу, говорит, тятька, в гимназию!.. Как?! говорю (выпивши я тогда был, признаться), ты?! Да, говорит, в гимназию, да и все тут!.. А этого ты не хочешь? (Кузьмич сжал кулак). Нет, говорит. А ты меня бей, коли руки поднимутся, а только в гимназию приготовь! Каков? «Коли руки поднимутся!..» Выпивши был я тогда (как изволил вам говорить), осердился, дал ему раза два… Ну, а потом стыдно стало-с… — Кузьмич сконфузился. — Да-с… Что ж, думаю, парень то, ведь, он с мозгом… в добрый час!.. Авось, потом из него человек выйдет…

— И превосходно! — одобрил Андрей Иваныч. — Пусть учится, пусть…

— Ну, что ж, говорю, шельмец ты этакий!.. в гимназию, так и в гимназию — с Богом!.. Вот только как теперь насчет средств? Э, тятенька, ничего! Лишь бы за первый год заплатить, а там на стипендию попаду, Бог даст… Ступай, говорит, учитель вот тут, подле нас живет… Очень уж .его хвалят… Не согласится ли он меня подготовить?..

— Что ж, это можно — возьмусь! — согласился Андрей Иваныч.

— Ой-ли?..

Кузьмич даже руки потер; лицо его просияло.

— Вот только насчет этой платы-с… — замялся он. — Мы люди маленькие…

— Да сколько дадите…

— Синенькой будет за месяц?..

— Хорошо.

— Так по рукам, значит?

Андрей Иваныч протянул руку. Кузьмич ухватился за нее обеими.

— Ну, вот и отлично-с! отлично-с!.. Теперь тоже насчет топлива-с…

— Какого топлива?

— Да так-с… примерно сказать… — Кузьмич замялся. — Мы по столярной части… Стружки, обрезки досок остаются… Дрова ноне дороги-с, приступу нет к дровам!.. Так вы уж, пожалуйста, без церемониев… А за сим будьте здоровы-с!..

Кузьмич раскланялся и быстро вышел» из комнаты.

«Ну, что ж, по пяти рублей в месяц… Месяца три — пятнадцать…» — раздумывал Андрей Иваныч. «Все на квартиру хоть хватит. А там переписка опять — рублей 10–I2…»

И старик глубоко задумался, погрузился в расчеты. Но, как ни рассчитывал он — все выходило мало… Положим, комнату можно найти маленькую, рублей за пять в месяц. Десять еще останется; да Зиночка там кое-что из магазина получит… Но как поместиться им в уголке после целой квартиры? Где поместить дочку? Обед, где готовить? Не из трактира же брать, все это дорого…

«Нет, надо, непременно надо денег достать!», думал старик. «Но как? откуда?..»

И вот взор его упал на маленький книжный шкафчик. После Зиночки книги были его единственные друзья, и часто за ними он забывал свое горе, заботы… Там между ними были и очень ценные: любой букинист мог бы дать хорошие деньги.

«Продам их!..» — решил старик. «Рублей полтораста-двести дадут…»

А еще утром сегодня Зиночка сидела в своей комнатке за шитьем и тоже раздумывала о продаже. Была и у нее одна радость и утешение в жизни — цветочки… С какой любовью она ухаживала за ними! Как холила их, как берегла!.. Марья Ивановна давно уж приглядывалась к ее роскошным фуксиям и олеандрам и с удовольствием бы купила их…

— Андрей Иваныч Запольев здесь живет? дома? — послышался в кухне голос.

Андрей Иваныч вздрогнул и стал прислушиваться. Голос ему показался знакомым.

— Дома. Сюда, вот, сюда пройдите!..

Дверь отворилась, и в комнату вошел Федоренко.

— Андрей Иваныч!.. Голубчик!.. Так вот вы где поселились! А я-то искал вас, искал, едва нашел! — говорил он дрожащим, взволнованным голосом, с грустью оглядывая убогую обстановку.

Лицо Андрея Иваныча просветлело. Он крепко сжал толстую, красную руку юноши и усадил его рядом с собой на диванчик.

— Спасибо, милый, спасибо!.. — говорил он. — Так вы меня не забыли?

— Забы-ыли!.. — протянул Федоренко, и в голосе его вдруг зазвучал упрек. — Вас-то забыть, Андрей Иваныч... Господь с вами!.. Да дня, ведь, не проходило, чтоб мы вас не вспоминали, дня одного!..

— Еще раз спасибо, милый!.. — И старик опять крепко сжал ему руку. — Я так и знал, так и думал... — Ну, что, как у вас там в гимназии? Все ли благополучно?

Федоренко только махнул рукой.

— Уж лучше и не говорите, Андрей Иваныч!.. С вашим уходом все точно с горы пошло...

— Да? А что же такое?

— Да все!.. Учителя стали неаккуратно посещать классы... Положим, нам это — плевать!.. Ведь, вы у нас только и были хороший учитель, а остальные — кто с борку, кто с сосенки...

— Федоренко! и вам не стыдно!..

— Да разве не правду я говорю!.. разве найдем мы такого учителя!.. Э-эх!.. — с какой-то злобою протянул Федоренко. — Не умели дорожить человеком...

— Так вот, неаккуратны учителя-то, — продолжал он. — Да оно и не мудрено. Ведь, жалованья им Шнейдер не платит...

— Как так?

— Да так. Дела у него, говорят, из рук вон плохи: долги, долги и долги... Пожалуй, того и гляди, не сегодня, завтра гимназия-то наша тю-тю... закроется...

— Полноте!

— Верно. Да и черт с ней!.. Мало разве гимназий?.. Вот только учителей таких...

— Ну, ладно, ладно! — улыбнулся Андрей Иваныч. — А ваши товарищи как? Все живы-здоровы?.. Рунич?..

При слове «Рунич», Федоренко вдруг вспыхнул. Злая улыбка мелькнула у него на губах.

— А с Руничем мы расправились, Андрей Иваныч! — говорил он. — Будет нас помнить!

— Как?

— Да так уж... Теперь он поджал хвост, и сам, того и гляди, оставит гимназию... Уж мы корили, стыдили его!.. Ведь, из-за вас, говорим, человек по миру должен идти!.. Простите, Андрей Иваныч... мы так и сказали: по миру...

— Ну, что ж… — прошептал старик. — Ведь, это почти что, правда…

Федоренко взглянул на него, и в его добрых серых глазах сверкнули слезинки. Он вдруг сжал старику руку и, очевидно, хотел что-то сказать.

— В чем дело, голубчик?..

— Да вот есть для вас кое-что… Только не знаю я, согласитесь ли…

— А что такое?

— Пыльникова не забыли?

— Нет, как же, помню! Маленький такой, бойкий?

— Да… Так, видите, вот, отец у него в обществе железных дорог служит; большую должность там занимает, что-то вроде начальника эксплуатации, что ли… Ну, и просил передать вам. Места, говорит, есть там свободные, рублей на 600 в год… Если хотите, пока… Ну, а там, Бог даст, и другое дело найдется…

— Ну, вот за это спасибо! Большое спасибо, голубчик!

И Андрей Иваныч протянул руку.

— Вы передайте ему, Пыльникову, что я… что Зиночка…

Но он не кончил и только махнул рукой. Слезы ручьем потекли у него по щекам.

VIII.

Отец и сын.

Чудная, тихая ночь: ясная, светлая, слегка морозная!.. Как брильянты, сверкают снежинки на тротуарах, на мостовой, даже глазам больно!.. Воздух чист и прозрачен — далеко видно кругом. Небо ясно, безоблачно; синие звездочки мигают на нем, и луна, полная, круглая, молодая луна льет целые потоки света…

…Тик-так… тик-так… тик-так… мерно, звонко, отчетливо выговаривают великолепные стенные часы в футляре черного дерева, с инкрустациями из перламутра и серебра… И так ясно, точно днем, можно видеть, как с каждым этим «тик-таком» секундная стрелка подвигается все вперед и вперед… А лунный свет волнами льется в большую, просторную комнату сквозь чуть-чуть запотевшие стекла окна. Ярко горит он и переливается на золоченых рамах картин, на бронзовых бюстах и статуэтках письменного стола с разбросанными на нем книгами и бумагами… И, Боже, сколько этих картин — галерея целая! Оригиналы, прекрасные копии с Тициана, Рембрандта, Корреджио и Мурильо; копии с лучших картин лучших современных художников… В двух-трех огромных шкафах виднеются из-за стекол целые сотни книг в роскошных, тисненных золотом, переплетах… В камине тлеют и догорают красные угольки. Изредка вспыхнут они с легким треском слабым голубоватым пламенем и опять потухнут… Но камин нисколько не прибавляет свету в этой большой и просторной комнате; она и так достаточно освещена луною. Даже слишком, достаточно. Точно днем, можно разглядеть и сосчитать каждый гвоздик на маленьком, уютном диванчике, обитом темно-синей шелковою материей, и таком же кресле у письменного стола. Можно разглядеть рисунок этой материи…

По кабинету из угла в угол ходит высокий и стройный молодой человек. Это Рунич… Он сильно взволнован, расстроен чем-то… То медленно, то как-то порывисто, лихорадочно, быстро ходит он взад и вперед. Порой остановится, запустит руку в густые, темные волосы, взъерошит их; бледное лицо вдруг исказится каким-то страданием; плотно сожмутся губы… То остановится у окна и долго, минут пять-шесть стоит неподвижно и как-то неопределенно, рассеянно глядит вдаль… Окно кабинета выходит в сад, в нем летом так много тени, прохлады!.. Густые кусты сирени, акация, клен, береза; клумбы с цветами; беседка, в готическом стиле, опутанная вечно-зеленым плющем. Но, это, ведь, летом… Теперь зима, и все кругом так пустынно, мертво, безжизненно!.. Печально глядят обнаженные кусты и деревья, дорожки, занесенные снегом, беседка… Но зато так славно, так хорошо светит луна; так ярко горит и переливается этот холодный, безжизненный снег на дорожках, на крыше беседки, на грустно поникших ветвях кустов и деревьев.

Не то вздох, не то стон вырывается вдруг из груди Рунича… Губы плотно сжимаются; сдвигаются брови. Он отходит, отскакивает от окна, и опять раздаются по кабинету его шаги — то тихие, медленные, то быстрые, порывистые, лихорадочные…

Дверь кабинета полуотворена, и из нее виднеется целая амфилада богато-убранных комнат… Везде бархат, шелк, позолота, бронза, фарфор; картины в массивных золотых рамах, шелковые драпри… Громадная люстра спускается с потолка на золоченых цепях, и так ярко, так весело горит и переливается радужными цветами лунный свет в ее граненых хрустальных подвесках. И везде, везде этот свет!.. Так щедро заливает он длинные, роскошно убранные, но все-таки пустынные комнаты… Звуки шагов несутся из кабинета и отдаются эхом по всей громадной барской квартире…

Тик-так… тик-так… тик-так… мерно, отчетливо выговаривают часы в кабинете; маятник тихо, едва заметно покачивается взад и вперед… Но вот вдруг в часах точно что-то слегка хрустнуло, зазвенело, и они пробили два… Бой был слишком резок и громок… Эхом прокатился он по пустым комнатам и точно кольнул в сердце Рунича. Он вздрогнул, остановился и стиснул руками голову… Огонь в камине почти совсем догорал; угольки тускнели и гасли… Рунич тяжело опустился в кресло, голова его поникла на грудь, и он глубоко задумался.

И долго сидел он в таком положении. Он не слыхал, как где-то внизу раздался звонок; не слыхал тяжелых шагов в дальних комнатах… А шаги все приближались… Дверь отворилась, и в кабинет вошел господин, лет под 50, высокого роста, с длинными, слегка седеющими бакенбардами… Он в изумлении остановился…

— Женя!.. Да ты не спишь еще!.. Что с тобой?.. Что ты тут делаешь без огня?..

Рунич вздрогнул и поднял голову.

— А, это ты, папа!.. Я и не слышал, как ты вошел… Ты скоро сегодня…

— Как скоро? Да, ведь, теперь без десяти минут три… Ты вздремнул, верно?

— Нет… Так я, присел у камина, задумался…

Рунич встал и зажег лампу.

— Ну, что-с, Николай Карлович, — говорил он, — поздравить вас можно? выиграли?..

И улыбнулся. Но чего стоила ему эта улыбка!

— Д-да… Так себе… Кое-что выиграл, — процедил Николай Карлович и зевнул. — Сот семь или восемь, кажется, не считал… Думал вернуться к часу, но пулька, противу чаяния, позатянулась… Спать что-то хочется… Ну, а ты, мой милейший? ты, что же?.. Я думал, ты уж давно спишь, а он сидит себе без огня, мечтает о чем-то… о чем же?

Он опустил руку на плечо сына, глянул ему в глаза и вдруг отшатнулся.

— Женя!.. да что с тобой?.. — испуганно пробормотал он. — Ты болен! На тебе лица нет!..

— Да, нездоровится что-то… немножко… Но ты не пугайся, папа… Видишь, какой ты, сейчас и встревожился!.. — И он улыбнулся. — Того и гляди, в аптеку еще пошлешь, за доктором… Я ничего… Пустое все это — пройдет!..

— Но что с тобой?

И Николай Карлович приложил ему руку ко лбу.

— Видишь, и голова горячая, — ляг! прими хинину…

— Ну, вот, так и знал, что ты меня сейчас лекарствами будешь потчивать!.. Да нет же, здоров я…

— Здоров!..

— Ну, конечно… Я, видишь, расстроен, папочка…

— Ты? чем же, Женя? Садись, говори скорее! — Николай Карлович опустился на оттоманку и притянул сына к себе. — Ну?..

— Скверно так на душе, папочка… Гадко, ужасно гадко!.. — И Рунич понурил голову. — Давно я хотел тебе высказать, поговорить с тобой, да все откладывал…

— И напрасно! Ты прежде был откровеннее… Но в чем дело?..

— Дело в чем?.. Видишь, голубчик… Я говорил тебе, кажется, о Запольеве?

— Это учитель гимназии?

— Да, бывший учитель… Теперь он уж давно оставил уроки, и оставил, ты знаешь, папа, *из-за меня*!

— Как? — удивился Николай Карлович.

— А вот, слушай.

И Рунич все рассказал отцу.

Тот молча слушал его и все больше и больше сдвигал брови. Его доброе, симпатичное лицо омрачилось. Но вот Рунич кончил. Николай Карлович встал и прошелся по кабинету.

— Д-да!.. — с грустным упреком говорил он. — Ты скверно поступил, Женя!

Рунич еще ниже понурил голову.

— Знаю… — прошептал он.

— И даже более!.. Ты поступил нечестно… бессердечно!.. Я не думал…

И Николай Карлович в волнении зашагал по комнате.

— Папа! прости… Не сердись, ради Бога!.. — почти простонал Рунич. — Ведь, я и так уж слишком наказан… Я ночи не спал… я мучился…

— Я не сержусь… Бог с тобой!.. Но не в том дело!.. Все дело в поступке, милый, в поступке гадком, нечестном… Не ожидал я от тебя… К чему такая заносчивость!.. Обидеть так, оскорбить человека!.. За что? За то, что он беден и добывает тяжелым трудом кусок насущного хлеба!.. Эх, Женя!.. Женя!..

Он сел и обнял одной рукой сына. Тот вздрогнул, и вдруг по щекам его покатились слезы.

— Не плачь, полно!.. Поступок совершен, и я не буду тебя укорять за него… Еще все, пожалуй, можно поправить… Но дело не в том, голубчик… Не плачь же, я говорю!.. Я удивляюсь только, с чего ты мог так унижать человека? Или богатство это, пустая роскошь так ослепили тебя? Женя! Я думал, что ты умнее!.. Разве не знаешь, чем был я прежде, пока не нажил миллионов?.. Не говорил я тебе?..

— Говорил, папа…

— Видишь!.. Я был беднее Запольева и жил не в таких огромных и роскошных палатах, нет!.. Жил в углу, в подвале… Трудился из-за куска хлеба… Ночей не спал, голодал часто… И как ты думаешь, милый?.. в то время, всегда ли мне гадко, тяжело было? О, нет!.. Порой я чувствовал себя лучше, гораздо лучше, чем вот теперь, среди этой роскоши, блеска… Богатство, ведь, не дает счастья, дитя мое, и ты это хорошо знаешь… И через золото слезы льются… Да… Бывают минуты, когда… но что толковать об этом!..

Он замолчал и подавил вздох.

— Тебе бы тогда же надо было поправить свою вину, Женя, — продолжал он. — Следовало бы сказать мне, признаться во всем… Мы вместе бы дело поправили… Ну, а теперь… Не поздно ли?.. И он очень бедствует, говоришь ты?..

— Да… — проговорил Рунич. — Живет одной перепиской… Дочь в магазин работает… Так только гроши какие-то… Мне говорили мои товарищи… Квартира сырая, холодная…

— Видишь, что ты наделал!..

И Николай Карлович опять встал и зашагал по комнате.

— Но отчего ж ты не сходил к нему? не попросил прощения?.. Ведь, он, говоришь ты, человек добрый, честный и благородный… Ведь, он простил бы тебя… Зачем же ты не сходил, не поправил дела?.. Ведь, может, он не нуждался бы, как теперь… Эх, Женя, Женя!.. Так почему же?..

Молчание.

— Гордость тебе не позволила? да?.. Как можно сыну богача Рунича так унижаться пред бедняком, нищим!.. Ведь, это многие у нас зовут гордостью… Но это не гордость, Женя, это —

глупое высокомерие!.. Это… но я не могу прибрать слова… Гордость не ты выказал, а Запольев… Да… Этот бедняк, этот нищий!.. Не унижаться, не кланяться, не гнуть спину пред богачом — вот это гордость!.. Так ты потому, Женя? да?..

— Да!.. — прошептал Рунич. — Я сознаюсь, папа… и… я глубоко раскаиваюсь… Сперва поступил я бесчестно… гадко… Я мог бы это поправить… но не хотел… Меня стыдили, корили в глаза… Я насмехался над ними… Сходить извиниться… Нет, сохрани Бог, — умереть лучше!.. Да, это не гордость была, папа, ты прав… Это была глупость, высокомерие… Я сознаюсь в этом… Мне говорили товарищи, что он бедствует с дочерью, голодает, и все из-за меня… Сперва я не обращал никакого внимания… Потом… О, папа… Я никогда… я в жизни никогда не забуду этого!.. — Рунич вскочил и вдруг стал ломать руки, слезы ручьями хлынули у него из глаз. — Помню, осенью… Ветер был сильный; дождь лил, как из ведра; грязь на улице непролазная… Я ехал в карете… И вдруг вижу его, Запольева… Бледный, худой такой, изможднный… в старой шинелишке, без калош; дрожит, посинел весь от холода… Он шел, задумавшись… плелся по этим лужам… И лошади чуть не наехали на него… Он едва отскочил… Грязью ему лицо забрызгало… Папа!.. голубчик папа!.. я никогда не забуду этого!.. Он и теперь… да, стоит только закрыть глаза, стоит он передо мною, бледный, худой, продрогнувший, с забрызганным грязью лицом… Ведь, это *я* бросил ему в лицо грязью!.. Да… Ты представь только… Я в этот день совсем изменился… Я стал какой-то другой… Пропал аппетит и сон… По целым ночам я глаз не смыкал и мучился… страшно мучился!.. Сердце болело и ныло…

Николай Карлович схватил руку сына и крепко сжал ее в широких ладонях.

— Зачем же ты не сходил к нему? — говорил он. — Тогда не сходил?.. А?..

— Не мог я, папочка… Сил не хватило!.. Стыдно ужасно было… Я глаз ему не смел показать…

— А теперь?..

— Теперь я схожу к нему… Завтра же, непременно… попробую…

— Хорошо!..

И Николай Карлович положил ему на плечо руку.

— Ну, а теперь слушай… Как извиниться пред ним, я говорить не буду: ты это сам знаешь и должен знать… Ты только скажи ему от меня, передай: Николай Карлович Рунич… Он никогда в жизни… Э, да чего тут!.. Возьми мою карточку и отдай ему… Скажи, что всегда и во всякое время мой дом открыт для него, пускай он приходит ко мне, когда захочет, и что я сделаю для него все, что только от меня зависит, что только я в силах сделать… Но только ты одного не забудь, и это самое главное… Пускай Запольев не думает *никогда*, что, обращаясь ко мне, когда бы то ни было и зачем бы, то ни было, он будет мне, в чем *обязан*… о, нет… Скажи, что *Я* ему буду обязан и благодарен от всей души… Не забудь, Женя!

И Николай Карлович опять зашагал взад и вперед по комнате… В часах что-то щелкнуло, и они пробили пять… В окно брезжил рассвет… Рунич сидел в кресле, понурив голову, бледный и грустный, и крупные капли слез еще дрожали у него на ресницах…

IX.

Солнышко опять засияло.

Бушевала метель… Ветер со свистом и воем носился по улицам, вздымая целые облака снега и чуть не сбивая с ног бедных прохожих. Порой наступал совершенный мрак: в двух трех шагах ничего не было видно, и только свет газовых фонарей выделялся из этого мрака какими-то желтыми пятнами…

Андрей Иваныч еще с утра чувствовал себя не совсем здоровым. У него сильно побаливала голова; во всем теле чувствовалась слабость… Не без тоскливого чувства поглядывал он на занесенные снегом окошки, прислушивался к завываниям метели… Сегодня ему непременно надо было явиться в правление …ской железной дороги. Его вызывали туда письмом.

«Ну, ничего, — думал он, — к вечеру-то. Бог даст, утихнет»…

— Папочка, да разве нельзя отложить до завтра? — уговаривала его Зиночка. — Ты только посмотри, что делается на улице!.. Ведь, тебя с ног свалит совсем, занесет!.. Останься, голубчик! Утром успеешь сходить…

— Нельзя, родная, нельзя! Ты разве не читала письма? В половине седьмого прийти велели… Ты знаешь, как они аккуратны. Не будут ждать… Не меня, так другого найдут…

И как ни уговаривала его Зиночка, он отправился.

На железнодорожном вокзале было ровно *6*, когда Андрей Иваныч входил в правление. Ему пришлось подождать с час, если не больше: главный инженер еще не приезжал. Наконец, его приняли, и приняли очень любезно… Старик легко и свободно вздохнул, забыл и про свою слабость, и про головную боль… Да и еще бы! Ведь, не сегодня-завтра он будет получать 50 рублей в месяц!.. Господи, 50 рублей!.. Да, ведь, это богатство после той бедности и нужды, что они перенесли с Зиночкой!..

Но, увы! его радостное настроение продолжалось недолго. Свободных мест в настоящее время в правлении не оказалось. Там готовились какие-то преобразования: сокращались штаты с одной стороны и увеличивались с другой… Места будут, но только не сейчас…

— Вы месяца через два зайдите, — говорил ему инженер. — Тогда уж наверное!.— Честное слово?

— Да.

И упавший было духом Андрей Иваныч опять успокоился.

«Ну, ничего, подождем! — думал он, с трудом шагая по снежным сугробам и поплотнее закутываясь в шинель. — Пробьемся как-нибудь эти два месяца… Дольше, ведь, ждали, чего ж»…

А метель бушевала… Андрей Иваныч начинал чувствовать, что он слабеет все больше и больше, что ноги с трудом держат его. Голова у него болела, кружилась, а до дому было еще далеко…

— Извозчик! — крикнул Андрей Иваныч.

Ответа не было. Он крикнул еще, но извозчики точно все скрылись куда-то. Сердце у него болезненно сжалось…

«А вдруг упаду на дороге… замерзну!.. — мелькнуло в больной голове, — Господи!..»

Он пошатнулся и опустился, упал на плиты чьего-то подъезда…

Бледное личико с темно-карими любящими глазами мелькнуло вдруг перед ним… Мелькнула комнатка с занесенными снегом окнами; лампа под абажуром…

— Зи-иночка!.. — прошептал старик.

Долго сидел Андрей Иваныч на холодных плитах подъезда. Но вот он очнулся, собрался немного с силами и опять поплелся вперед…

С трудом добрался Андрей Иваныч до своей квартирки и, совсем усталый, измученный, вошел в сени. Но вдруг он в изумлении остановился у двери и стал прислушиваться: ему послышался чей-то голос, и голос знакомый, как-будто Рунича? Как? неужели он? быть не может! Да, это он, Рунич… Он говорит что-то, но так тихо, невнятно; голос его дрожит, в нем слышны слезы… Но вот его вдруг прерывает Зиночка:

— Полноте, Рунич, Бог с вами! — говорит она. — Я на вас совсем не сержусь… Нисколько!.. И папочка, я уверена, тоже не сердится… Мы оба давно вам простили…

— Но, Зинаида Андреевна…

— Без всяких *но!..* Вы искупили свою вину, вы много страдали, раскаивались… У вас хорошее сердце… Да… Дайте мне руку, Рунич… Вот так!.. Правда, сперва я сердилась на вас, очень сердилась… Еще бы! Ведь, из-за вас папочка должен был оставить гимназию… Вы понимаете, он не мог оставаться там после этой истории… вашей выходки… Ну, хорошо, хорошо, полноте! Дело прошлое! Да, он не мог оставаться, и мы терпели нужду, мосье Рунич, большую нужду, о которой вы и понятия не имеете… По целым дням и ночам нам приходилось работать из-за куска хлеба… Вы понимаете? Но, впрочем, где-ж вам понять: ведь, сытый голодного не разумеет!.. Положим, мне это не трудно было… да… ночи сидеть напролет… в холодной, нетопленой комнате, шить… пальцы окоченели и в них иголка не держится… Но это все ничего: я слишком еще молода и здорова, но папочка… Он, ведь, старенький… то есть не очень старенький, а больной… Ему так много пришлось перенести в жизни!.. Он должен был спину гнуть за бумагами… Переписка — гривенник, пятиалтынный с листа… На хлеб не хватало, Рунич…

— Зиночка!.. — И Андрей Иваныч вдруг вошел в комнату. — Будет! довольно!..

Рунич, бледный, взволнованный, поднялся со стула, шагнул…

— Андрей Иваныч! — чуть слышно прошептал он, — я никогда… никогда в жизни не прощу себе этого… Я так виноват… так оскорбил вас… А вы… вы…

Старик поднял глаза. Да, перед ним стоял не прежний, а другой Рунич!.. Куда девалась эта гордость, высокомерие?.. Эта откинутая назад голова и вызывающий, дерзкий взгляд?.. Нет, перед ним стоял юноша с понуренной головой, с опущенными глазами… В его голосе звучали слезы, мольба…

Старик ничего не сказал. Он только схватил руку Рунича и крепко сжал ее в своих озябших, окоченелых пальцах. Тот поднял глаза… И вдруг слезы ручьем хлынули по щекам Рунича. Он бросился на шею Андрею Иванычу, обнял его…

— Ну, будет, будет… Оставьте! — бормотал тот, чувствуя, что у него тоже слезы подступают к горлу. — Ведь, вы меня совсем задушили, Рунич!..

— Андрей Иваныч!..

— Хорошо, хорошо, милый… Да, милый мой, добрый, хороший мальчик!.. Господь с вами, я не сержусь… Зина была права: у вас доброе сердце… Оставим все это, довольно! сядьте!

И он почти силой усадил Рунича.

— Зиночка! — говорил он совсем уж веселым тоном, — ты там скажи Марфе, чтоб самоварчик… Папка совсем замерз и устал… Чайку хорошо бы… И гость, может, тоже выпьет с нами стаканчик…

— Да самовар уж давно готов, папочка. Я только тебя дожидалась…

— А, и прекрасно! — И Андрей Иваныч потер руки. — Вы не откажетесь, Рунич? а? не так ли?.. разделите нашу трапезу?.. бедную, разумеется… Но что ж делать, что есть…

— Вряд ли, папочка! Мосье Рунич не станет пить нашего чаю: он из дешевеньких, ведь, не китайский лянсин… Да и сахару у нас очень мало осталось… Вприкуску придется… Он не привык!..

— Зинаида Андреевна!.. — укоризненно заговорил Рунич.

— Ну, не сердитесь, я пошутила!.. Самовар, Марфушка! поскорее! чаю хотим! — весело закричала Зиночка.

На дворе бушует метель. Жалобно воет и стонет ветер, и снег целыми комьями бьет в стекла окон… Их затянуло морозом… Лампочка на столе разливает мягкий и слабый свет. Она освещает сырые, местами отставшие обои маленькой комнатки… Холодно… На столе самовар поет свою монотонную, заунывную песенку, но все здесь веселы и довольны, у всех веселые лица… Да, солнышко опять засияло в этой темной, сырой и холодной комнатке!.. У Андрея Иваныча точно гора с плеч свалилась; старик усиленно дул на блюдечко и весело улыбался… Улыбались и Зиночка, и Рунич.

— Так вы согласны, Андрей Иваныч? да? согласны?

Старик допил стакан, отодвинул его и на минуту задумался.

— Как?! неужели нет?! А папа просил вас… Он был бы так рад…

— Вот видите, милый, — задумчиво говорил старик, — я очень вам благодарен… Да! предложение вашего папы — блестящее предложение. Но только… не для меня… Постойте, вы не тревожьтесь, Рунич, послушайте! И ради Бога не обижайтесь! Я, сколько помню себя, — продолжал он, — еще с малых лет у меня было одно только желание, это учиться, учиться, учиться… И я учился, читал, писал кое-что… Потом, уже в более зрелых летах, у меня явилось желание… нет, не желание, а потребность — передавать свои знания и другим… Ну, одним словом, я был, есть и — чувствую — буду учителем с головы до ног! — слегка улыбнулся Андрей Иваныч. — И это — мое назначение… Да, мне так кажется и казалось… Положим, знаний, увы, немного! Невольно чувствуешь это, (вздохнешь порой, пожалеешь, что мало учился раньше, и придешь к тому же заключению, как и Сократ, что знаешь ты только то, что ничего не знаешь… Но что ж делать? что есть!.. И этими крошечками хотелось бы поделиться с

другими, у кого их нет… Три тысячи в год… Ведь, это для, нас богатство, целый капитал!.. Но получить это богатство я не способен, Рунич… Зачем вы смотрите так на меня? Да, положительно не способен!.. Ну, посудите сами, какой я бухгалтер! Плохой бы я был помощник Николаю Карловичу!.. Вы передайте ему, мой милый, что я душевно благодарю его, но не могу согласиться… Вот если-б уроки он мне достал, ну, так рублей на 600, на 700 в год, и нам будет вполне довольно… А эти три тысячи, — нет, Бог с ними!.. Ведь, вы не сердитесь?

— Я? что вы, Андрей Иваныч!.. Но я думал… Впрочем, если хотите, папа достанет вам и уроки… Ему ничего не стоит… И не на 600, 700, а гораздо более.

— Ну, вот и прекрасно! Спасибо, милый!.. А больше нам ничего не надо… Спасибо еще раз!

И старик крепко пожал руку Руничу.

Мошков. (Рассказ)

I.

Я помню со мной приключился тогда небольшой казус: я не выдержал экзамена из геометрии и потому остался «зимовать» в пятом классе. Положим, что такой казус в нашей А-ской гимназии даже и не считался казусом: остаться на второй год в том же классе было делом совсем пустяшным. Только и всего, что приходилось уплатить лишние десять рублей в год за ученье, и наши родители их уплачивали. Относились ли они сами вполне равнодушно к таким «зимовкам» своих сыновей, это, конечно, другой вопрос, но нас-то эти «зимовки» ни мало не смущали и не волновали. В былые годы сиживали и по три и даже по четыре года в одном классе и доходили кое-как до седьмого, тогда последнего, чуть-чуть уж не с сединой в бороде…

Но и это никого решительно не удивляло и считалось делом совершенно обыкновенным.

Итак, суть не в том, что я остался на второй год в пятом классе, а в том, что в это же самое время из четвертого в пятый к нам перешел Мошков, с которым я уселся на одной скамейке и хорошо… да, очень хорошо познакомился.

Признаться, я уж давно хотел познакомиться с этим мальчиком или, вернее сказать, молодым человеком. Мошкову было только 15 лет, но он выглядывал, по крайней мере, семнадцати или восемнадцатилетним. Высокий и худощавый, с бледным лицом и кроткими, задумчивыми глазами, он как-то невольно обращал на себя внимание.

И он обращал на себя внимание и учеников, и учителей еще со своего поступления в первый класс. Тогда ему шел только десятый год, но и в этом возрасте он уже отличался от своих сверстников.

Во-первых, Мошков никогда не шалил и не безобразничал, как другие его однокашники. В этих обычных играх, в этом шуме и гаме, затеваемых первоклассниками, с первой и вплоть до третьей «перемены», он никогда не принимал никакого участия. Болезненность, что ли, мешала ему или вообще обладал он таким, не совсем детским характером — Бог знает. Но только и первоклассники, и второклассники, и третьеклассники считали Мошкова каким-то букой и недотрогой. По счастливому стечению обстоятельств, он избежал той незавидной участи, какую испытывали, бывало, да и теперь еще порою испытывают кроткие, незлобивые ученики. А Мошков был кроток и незлобив до крайности, и прозвание «голубица», которое он получил в первом классе, подходило к нему, как нельзя более. Его сперва, как и водится, «затрагивали», пробовали обижать. Он или отмалчивался, или говорил: «отстань, не мешай,

пожалуйста!» или просто «отстань»!» — и от него отставали, оставляли его в покое. Но, впрочем, ни одна кротость и физическая слабость Мошкова (он всегда был слабым, болезненным) заставляли учеников оставлять его в покое. Ведь, на слабых-то обыкновенно и выезжают, им-то и достается всегда больше всех! И не юный возраст Мошкова: он в первом классе был едва ли не самым младшим, а там были и «велико возрастные» ребята, лет по 15, по 16. Нет, было кое-что другое, что невольно как-то располагало их смотреть на него с некоторым удивлением, не без примеси, впрочем, к этому удивлению и уважения. Правдивость, искренность, честность — вот что удивляло в Мошкове и первоклассников, и второклассников, и третьеклассников, и пр. А этими качествами они далеко не могли похвастать.

И точно, Мошков был правдив так, как дай Бог всякому! Его отвращение ко всякой лжи, как-бы она ни была ничтожна, доходило порой до какой-то болезненности. «Правдив, как Мошков!» — полушутя, полусерьезно говаривал иной раз Иван Иванович Белоусов, учитель русского языка, на педагогических советах гимназии. И прочие учителя вполне соглашались с этим, соглашались… и извлекали из этого пользу.

Положим, доносчиком и фискалом, в общепринятом смысле этого слова, Мошков никогда не был. Но, если случалось увидеть ему, во время урока в классе, что какой-нибудь ученик творит заведомую «пакость», напр., пускает прямо учителю в нос комок жеваной бумаги, смоченной еще иногда чернилами, то эта пакость всегда возмущала его, и он, на вопрос учителя: «Мошков! кто это сделал?» никогда не задумывался отвечать: такой-то!

Сперва первоклассники считали это возмутительным и называли фискальством, наушничаньем и подлостью. Они даже вздули раза два-три за это Мошкова «на все корки». Но Мошков терпеливо переносил побои и в то же время старался им доказать, что не он, а они сделали подлость, и что, как они там ни бей его, он все-таки говорить будет, потому так поступать гадко, скверно, нехорошо! Воткнуть, напр., иголку в кожаный стул учителя или налить на этот стул серной кислоты, а бывали и такие случаи, что ж это хорошо? похвально?

— Нет, буду я говорить, всегда буду!.. — настойчиво повторял Мошков, и на его бледном, худом лице выступал вдруг яркий румянец.

И говорил!

Ну, что ж было делать? Поглядели первоклассники, поглядели и решили, что с Мошковым надо ухо востро держать и вообще остерегаться его, то есть не делать при нем никаких таких «пакостей».

И не делали, старались не делать.

Разумеется, тоже самое повторялось и во втором, и в третьем, и в четвертом классе. Мошков всегда оставался верен себе: любил правду и ненавидел всякую ложь и обман, и его однокашники, наконец, привыкли к этим его «странностям».

А так вообще Мошков был прекрасным товарищем. В нем не было и следа зависти к другим, более успешным и получающим более «четверок» и «пятерок», чем он. Нет, он таким ни капельки не завидовал. Не было у него ни малейшего поползновения подставить другому ножку в видах конкуренции. Ничто подобное ему, вероятно, и в голову не приходило. Товарищам, шедшим ниже его, не отличавшимся особенными способностями, Мошков никогда не отказывался помочь. Решить какую-нибудь особенно трудную и замысловатую задачу, написать сочинение — в этом Мошков никогда и никому не отказывал. Напротив, он даже рад

был, когда к нему обращались в таких случаях. Но, впрочем, он ставил тут некоторые conditio sine qua non. Так, напр., он, с величайшим удовольствием, объяснял как сделать такую-то вот задачу, но что бы он дал кому-нибудь «списать» эту задачу из своей тетрадки и потом выдать учителю за свою, это он не допускал ни в каком случае. Ведь, это было обманом, ложью, а он не выносил их.

Раз был, между прочим, такой случай. Мошков написал одному из своих товарищей сочинение. Оно вышло гладко и хорошо, и Иван Иванович Белоусов, учитель русского языка, усомнился в принадлежности его автору: ученик был из довольно плохих и в «сочинениях» никогда не отличался.

— Это ты писал, Макаренко? — обратился он к ученику и устремил на него испытующий взгляд.

Но Макаренко не моргнул и бровью.

— Я-с! — бойко ответил он.

— И никто не помогал тебе?

— Нет-с.

Мошков покраснел и тревожно заворочался на скамейке. И вдруг он встал.

— Он говорит неправду, Иван Иванович, — заявил он. — Сочинение написал я.

— Ты? но разве не знаешь ты, что писать сочинения для других вовсе не полагается? Каждый должен работать сам, как умеет, как может.

Мошков замялся.

— Но он просил меня…

— А ты должен был отказать. Ты мог объяснить ему только, как надо писать, но писать он уже должен сам.

В результате вышло, что Макаренко получил единицу, а Мошков — строгий выговор. И вот с этих пор он уже не писал для других сочинений, а если и соглашался, кому написать, то не иначе, как под условием говорить правду, если это понадобится.

— Изволь, напишу, пожалуй, — говорил он, — хоть это и запрещено мне, да уж куда ни шло! Но, только смотри, Папков: если Иван Иванович спросит, сам ли ты написал, — прямо говори, что не сам, а Мошков. Скажешь?

Папков поморщился.

— Гм… пожалуй… скажу… — нехотя пробормотал он.

— Честное слово?

— Н… да…

— То-то, смотри! А то, ведь, я все равно сам скажу!

Папков не сдержал слова, солгал, и Мошков обличил его.

— Но как же, Мошков? Ведь, я говорил тебе, чтоб ты не писал для других сочинений!.. — сердито обратился к нему Иван Иванович. — Что ж ты опять? а?

Мошков молчал.

— Почему же ты не сдержал слова?

— Я не давал вам никакого слова, Иван Иваныч.

— Как не давал?

— Вы только мне запретили писать, а слова я не давал...

— Но так, ведь, нельзя, голубчик! Так, ведь, нельзя! Ведь, это непослушание!.. это... Зачем же ты опять написал?

— Он очень просил меня.

— Скажите, пожалуйста! Ну, так, чтобы на следующий раз ты был послушнее и не исполнял таких просьб, останься-ка ты сегодня в классе после уроков да попостись часок — другой!

И Мошков попостился, пострадал за свою излишнюю доброту. Но, впрочем, это нисколько его не исправило. Он и потом продолжал писать, но только под тем же условием: говорить непременно правду. И ничего — благополучно сходило с рук!

Вообще это была довольно оригинальная личность, и мне давненько хотелось уже с ним познакомиться. Я поступил в гимназию прямо в третий класс. Мошков в это время был во втором. Но вот, оставшись «на зимовку» в пятом, я сделался однокашником, товарищем этой оригинальной личности и сел с нею на одну скамейку.

II.

Я говорил уже, что сидеть по два, а прежде, в былое время, и по три, и по четыре года в одном классе считалось в нашей гимназии делом самым обыкновенным, а потому и «великовозрастные» ученики составляли у нас едва ли не большинство. Встретить, как, например, теперь, в пятом классе 14–15 летнего мальчика считалось чуть ли не феноменом. Такие сидели обыкновенно на скамейках первого и второго классов. У нас, например, в пятом, я по годам, до поступления к нам Мошкова, был самым младшим. А мне уж пошел восемнадцатый. Но как раз соседом моим на второй скамейке был некто Дьяченко, громадного роста, широкоплечий парень. Таким в настоящее время самое бы подходящее место было на последнем курсе университета. Дьяченке было едва ли не 25 лет. Он уж давным-давно брил бороду и носил порядочные усы, которые не стыдно было бы носить даже и капитану. Теперь такой ученик просто немыслим в пятом классе средне-учебного заведения, но в нашей гимназии, повторяю, он был довольно заурядным явлением. Бритая борода и порядочные (едва ли даже не слегка нафабренные) усы Дьяченки ни мало не смущали и не шокировали ни учеников, ни учителей. Затем было у нас еще три-четыре, давно уже брившие бороду, усача. Остальные, не исключая и меня, усов не носили и хотя и пробовали брить бороду, но безуспешно: растительность не выступала да и все тут! Но все-таки все отличались «великовозрастием». И вот, Мошков явился в нашем классе положительным Вениамином. Ему, как я говорил, было только 15 лет, хотя по росту и по слегка пробивающимся усикам, он и выглядывал семнадцати иди восемнадцатилетним. Но все-таки он казался нам всем просто

мальчиком!..

Я помню этот первый учебный день, по поступлении к нам Мошкова. Это был знаменательный день. Мошков явился перед нами таким, каким он был и в первом, и во втором и т. д. классе, таким, каким знали его все в нашей гимназии. Вышла история, и история весьма неприятная, хотя и окончилась она к общему благополучию. Но, впрочем, буду рассказывать по порядку.

Прошло уж минут пять, как прозвонил звонок, но Август Карлович Либенталь, учитель физики, еще не являлся. Нас было всех в классе четырнадцать человек, Мошков был пятнадцатым. И, вот, в ожидании учителя (нелюбимого, надо правду сказать, и мало знающего человека) все занимались, кто чем хотел, но, впрочем, вообще делами к уроку не относящимися. Дьяченко, например, набивал папиросы; Макаров и Андерсон горячо рассуждали о преимуществах виста и преферанса. Андерсон отстаивал преферанс, Макаров — вист. Семенов с жадностью поглощал, страница за страницей, какой-то роман Дюма. Матвеев собирался завтракать. Намазав маслом огромный ломоть хлеба, он положил на него несколько больших кусков колбасы, затем наклонился под стол и стал там что-то делать, что неизвестно. Послышался какой-то звук, точно откупоривали бутылку, потом в классе разнесся легкий спиртуозный запах. Матвеев крякнул, отер усы и вонзил зубы в приготовленный бутерброд. Я тоже что-то читал, что — не помню, но только, должно быть, очень уж интересное, так как не слыхал даже, как меня окликнул сосед мой, Дьяченко.

— Оглох ты, что ли? — повторил он и не совсем любезно опустил мне на плечо свою громадную лапу.

Я даже согнулся немного под такой тяжестью и, разумеется, выругался.

— Хочешь курить? пойдем! — говорил Дьяченко и протянул мне только что набитую папиросу.

— Убирайся ты! не хочу! — оттолкнул я его. — Да и поздно уж, сейчас Либенталь явится.

— А, ну его!.. Да вон он и сам... гляди-ка!.. — вдруг засмеялся он и указал на классную доску. — Молодец, Моргунов! Верно! похож, как вылитый!.. И куда он его поместил, в колбу! Ха! ха! ха! — Дьяченко захохотал.

Я посмотрел и улыбнулся тоже. Возле доски, с куском мела в руке стоял один из наших, тоже весьма великовозрастных учеников, Моргунов. Он только что окончил рисунок и смотрел на него не без некоторого удовольствия. Рисунок изображал колбу, а в ней стоял маленький, толстенький человек с брюшком, с очками на носу, в виц-мундирном фраке. Фигурка чрезвычайно напоминала Августа Карловича Либенталя...

Вдруг дверь отворилась, и Август Карлович вошел в класс собственною персоной. Едва не застигнутый врасплох, Моргунов успел бросить мел и, как ни в чем не бывало, уселся на свое место.

Август Карлович вошел со своей обычной улыбкою на губах. Он слыл в нашей гимназии за остряка и шутил и в классах с учениками, и с учителями в канцелярии или «учительской» комнате. Но, впрочем, шутки Либенталя отличались крайне дешевым юмором, а иногда от них просто отдавало пошлостью. Ученики его не любили и говорили, что он затем и сыплет так щедро свое дешевое остроумие, что думает прикрыть им крайне скудные знания по физике и химии, которые он преподавал в двух старших классах.

Итак, Либенталь вошел с своей обычной улыбочкой. Но вдруг она исчезла с его лица, и он покраснел, как кумач. Ему бросилась в глаза нарисованная фигура в колбе, и в этой фигурке он

не мог не узнать самого себя. Август Карлович вспыхнул.

— Это кто сделал?.. кто сделал?.. — гаркнул он вдруг на весь класс. — Как вы смеете! Порросята... мальчишки!

— Позвольте, г. Либенталь... — поднялся вдруг с места Дьяченко и выпрямился во весь свой громадный рост. — Позвольте заметить вам, что вы не имеете права так ругаться!.. Мы не мальчишки, и уж тем более не поросята!..

— Что-о?! — вскинул Август Карлович на него глаза из-под очков. Но, впрочем, он тотчас же опять опустил их. Дьяченко смотрел на него с высоты своего трехаршинного роста сверху вниз.

— А, вот мы сейчас увидим... поговорим!.. — прошептал Август Карлович и выкатился, как кубарь, из класса...

— Гм... дело плохо!.. — сумрачно проговорил Матвеев, вытаскивая из стола недоеденный бутерброд. — Это он за инспектором побежал, братцы!..

— Ну, и пускай его!.. Что ж нам инспектор сделает?.. Мы сами на него будем жаловаться, как смеет он нас называть поросятами? Мы не мальчишки какие-нибудь, а ученики старшего класса гимназии!..

— Конечно, будем!.. конечно!.. — поддержали и прочие. — А Моргунова, разумеется, ни в каком случае не выдавать!..

— Еще бы! Мы не с ума сошли!..

— А рисунок-то стереть надо бы, — предложил кто-то. — Оно бы и концы в воду!..

— Не надо! оставь!..

Явился инспектор, высокий, худой господин с висячими рыжими бакенбардами. За ним следовал Август Карлович.

— Помилуйте, господа! Что же это такое? — возвысил голос инспектор. — Вот Август Карлович на вас жалуется... Кто это рисовал? — И он сердито указал пальцем на доску.

Молчание.

— Ведь, это мальчишество, в самом деле!.. На что же это похоже!.. Такая насмешка...

— Позвольте, Иван Петрович — заговорил вдруг Дьяченко и поднялся с места. — Кто рисовал, я этого вам не могу сказать, потому — не видал, не знаю... Но почему же Август Карлович принял этот рисунок на свой счет? Разве нарисованная там маленькая, толстенькая фигурка с брюшком походит на него самого? Я, по крайней мере, не вижу в ней никакого сходства...

Иван Петрович замялся было немного, и закусил губы. Но Август Карлович выручил его.

— Походит или не походит — это мне решительно все равно! — язвительно говорил он. — Я вовсе не хочу критиковать талант неизвестного мне художника... Но это, во всяком случае, карикатура... намек... насмешка... Вы не имеете никакого права.

Дьяченко пожал плечами

— Но и вы не имеете никакого права ругать нас всех поросятами, Август Карлович! — заметил он.

Инспектор вопросительно взглянул на Либенталя. Тот замялся и покраснел.

— Да, я погорячился немного… — пробормотал он.

— Вы назвали их поросятами?

— Да…

— Гм…

— И, вот, я обращаюсь к вам от лица всего класса, Иван Петрович, — продолжал Дьяченко, — с заявлением, что мы считаем себя обиженными, оскорбленными и желаем, чтобы Август Карлович извинился пред нами…

Август Карлович вспыхнул и посмотрел на инспектора. Но тот молчал.

— Ну, что ж, господа… я… да, я, действительно, погорячился… — через силу заговорил Либенталь. — А потому… потому прошу извинить меня…

Дьяченко сел с самодовольной улыбкой. Улыбнулись и все мы. Самолюбие было удовлетворено.

— Но все-таки, господа… — заговорил вдруг инспектор, — подобный поступок… Я затрудняюсь даже как мне назвать его? Не шалостью же; ведь, вы не дети!.. Подобный поступок не извинителен таким молодым людям, как вы… Такие шутки… насмешки злые… Если бы это сделал ученик первого или второго класса, так я бы просто высек его… А вас, ведь, не высечешь, — усмехнулся он. — Скажите же, кто это нарисовал? молчите? не знаете? или просто не хотите сказать?

— Не знаем, Иван Петрович… Мы не видали.

— Та-ак-с!.. Значит, рисунок нарисовался сам… Или, может быть, кто-нибудь сюда заходил из другого класса и сделал это?

— Не знаем, Иван Петрович!

— Итак, вы не знаете… не хотите сказать. Прекрасно!.. Мы это и без вас узнаем, в таком случае… А я все-таки советовал бы признаться. Виновного, ведь, ожидает не смертная казнь и даже не остракизм: я просто посажу его на день в карцер.

Молчание.

— Итак, никто не хочет сказать? Хорошо… В таком случае, вы-то уж наверно скажете? — обратился он вдруг к Мошкову с приветливою улыбкой. — Я знаю, что вы не терпите никакой лжи!

Мошков поднялся, весь красный, как кумач. И вот, я, как сейчас, помню, на него устремилось четырнадцать пар глаз. Нет, впрочем, шестнадцать пар, включая инспектора и Августа Карловича. И он стоял, как солдат под перекрестным огнем под этими испытующими взорами, которых он, конечно, не мог на себе не чувствовать, но не спокойно и хладнокровно, как подобает солдату, а страшно смущенный и взволнованный.

— Скажет или не скажет? — думал я. — А, ведь, пожалуй, скажет. Но это будет, во всяком случае… подлость! — мелькнуло у меня в голове, но я поправился, нехороший поступок!..

— Вы скажете мне, кто рисовал это? — повторил инспектор.

Мошков поднял глаза. И вот, как сейчас, помню я этот взгляд, каким окинул он нас всех, пятиклассников. В нем выражался упрек, укор; он точно говорил: «эх, господа! господа! что вы делаете? и вам не стыдно»? Не помню уж, как другие, но великовозрастный верзила Дьяченко, устремивший было на Мошкова какой-то вызывающий, задорный взгляд, вдруг опустил глаза.

— Нарисовал вот этот… не знаю его фамилии, — проговорил Мошков, теперь уж совсем спокойным, хладнокровным тоном, и указал на Моргунова.

Тот покраснел и встал.

— Вы? — обратился к нему инспектор.

— Да, я.

— Но почему ж вы сами-то не признались? вам стыдно было?

Молчание.

— Ну, а теперь не стыдно?

Тоже молчание.

— Так отправляйтесь, г. Моргунов, в карцер и оставайтесь там до завтрашнего дня. Урока физики сегодня не будет, — обратился вдруг к нам инспектор и вышел с Августом Карловичем.

Ну, и что ж вышло затем? Накинулись мы все на Мошкова с бранью, с упреками? Называли его шпионом, предателем? Нет! Мы чувствовали себя не совсем ловко. Мы покраснели, сконфузились, когда тотчас же после ухода инспектора с Либенталем Мошков встал и обратился к нам со следующею речью:

— Господа! Я думаю, что вы не осудите мой поступок. Ведь, в сущности, вы поступили нехорошо, очень нехорошо! Ну, а когда ко мне обратились с прямым вопросом: «Мошков! уж вы-то, наверно, скажете»? Я… да, я не мог не сказать.

И только!

Мы все молчали, как один человек, и даже почему-то старались не глядеть на Мошкова. И только один Матвеев, опять принявшийся за свой нескончаемый бутерброд, пробормотал что-то сквозь зубы, в роде: «ишь ты, какой поборник истины выискался! Vivat veritas! и все тут»!

Арестованный Моргунов не выругал своего предателя, не окинул его злобным взглядом. Нет, он, не поднимая глаз, молча, прошел мимо него и отправился в карцер.

III.

Прошло две недели; прошел месяц. Мошков аккуратно являлся в класс каждый день, минут за 10–12 до начала урока. Держал он себя относительно нас, пятиклассников, ровно, вежливо, деликатно, но ни с кем в близкое знакомство не вступал, ни с кем не заводил никаких откровенных разговоров, да и вообще никаких разговоров, так сказать, к урокам не

относящихся. Но, несмотря на всю эту вежливость и деликатность, от его обращения немного веяло холодком. Об истории с человечком в колбе никто и никогда не заикнулся ни одним словом, точно этой истории никогда и не было.

— Нет, положительно он недотрога какая-то, «не тронь меня»! — говаривал иной раз, в отсутствии Мошкова, Дьяченко. — Но так вообще, кажется, добрый, хороший парень!

— Поборник правды и истины! — полусерьезно, полунасмешливо заметил Матвеев.

(Да, кстати, это прозвище — «поборник истины» — так и осталось за Мошковым, вплоть до его смерти. Прозвание, во всяком случае, не дурное; это не то, что, например, «лоботряс», «шут царя небесного», «пустозвон» и т.п., очень употребительные в нашей гимназии клички).

— Поборник истины, и к тому же еще «филозоф». Такие книжки читает! Я раз как-то, господа, застал, его за какой-то старинной, растрепанной книжкой. Углубился он в нее — ничего не видит, не слышит… Заглянул я ему через плечо… Батюшки вы мои! Просто глазам не верю! Книжка-то оказывается французская… Это он книжки французские в подлиннике читает!

— Н-ну? — усомнились мы.

И, действительно, как же было не усомниться! Мы с первого и до седьмогокласса включительно штудировали французский язык, зубрили грамматику Ноэля и Шапсаля, и все-таки, в конце концов выходили из гимназии со знанием французского языка не многим более, чем, напр., японского. А тут вдруг он, Мошков, пятнадцатилетний мальчик, ученик пятого класса, читает французские книжки в подлиннике! Воистину нельзя было не подивиться!

— Я даже и заглавие-то книжки запомнил, — продолжал Матвеев. — Вышел он, я и заглянул, записал для памяти. Оказывается, какие-то: «Reflections critiques sur l’etat de l’Allemagne et de toute 1’Europe pendant Felection de l’Empereur Charles VII». Вот он, братцы, какие книжки штудирует! Это не то, что мы, грешные: «Королева Марго» да «Три мушкатера», да «Граф Монте-Кристо»… И, главное, ведь, в подлиннике, вот что, канальство, заманчиво!

Не мудрено, что мы сразу восчувствовали к Мошкову какое-то уважение; затем мы приняли к сведению его знание французского языка и постарались его, по возможности, эксплуатировать. Случай представился очень скоро. Нам задали на дом перевести какую-то особенно трудную статью. Там оказалась пропасть совсем незнакомых слов, а лексикон был далеко не у каждого. Да, наконец, ведь, и рыться в лексиконах, подыскивая слова, работа куда какая кропотливая, скучная! Да и к чему же так беспокоить себя, когда вот тут под боком сидит человек, который сейчас же скажет все незнакомые слова, а тебе стоит только записать их. Но неужели он в состоянии сказать так-таки все слова, ни разу не заглянув в лексикон? Быть не может!

Такая благая мысль едва ли не первому мне пришла в голову, и вот я обратился к Мошкову.

— Скажите, пожалуйста, — начал я окольным путем, — вас нисколько не затрудняет эта статья?

— Какая статья?

— Да что нам задали-то, французская.

— Нет, нисколько.

— Вы, верно, хорошо знаете французский язык?

— Порядочно.

— Вы им занимались? уроки брали?

Мошков вдруг почему-то замялся.

— У меня был гувернер-француз… человек очень умный, дельный. Так вот у него я выучился.

Я как-то невольно взглянул на Мошкова, на его чистенький, опрятный, положим, но старенький, и очень старенький сюртучок. Вспомнились и его сапоги, с заплатками, наложенными, очевидно, не первым мастером, и мне показалось странным: каким образом мог быть у Мошкова француз-гувернер, когда он, должно быть, человек очень бедный? Мошков, вероятно, поймал на лету мой взгляд, понял его значение и вспыхнул.

— Вам, верно, странным кажется, что у меня был гувернер? — спросил он, и в тоне его звучала и легкая насмешка, и укор. — Ведь, гувернеры бывают только у людей со средствами. А я, т.е., вернее, отец мой всегда был человеком бедным и жил только одним небольшим жалованьем. Но у меня, видите, была бабушка, по матери, очень богатая женщина. Так вот она платила этому гувернеру.

Мошков вдруг замолчал и закусил губы. На лбу его появилась какая-то складка; брови сдвинулись. Он, очевидно, вспомнил что-то очень тяжелое, неприятное. Я сконфузился.

— Зачем вы так говорите? — пробормотал я, — мне даже и в голову не приходило ни что подобное!

— Да? — доверчиво спросил Мошков. — В таком случае, извините! Но мне показалось, как будто вы…

Я поспешил замять разговор.

— Так вы хорошо знаете французский язык? — говорил я. — Не можете ли вы мне помочь немного в переводе этой статьи? В ней, видите, пропасть совсем незнакомых слов, а лексикона у меня нет.

— С большим удовольствием!.. сперва, я вам просто переведу ее, а потом скажу те слова, которые вам неизвестны.

И, к моему величайшему удивлению, Мошков, сразу, a livre ouvert, перевел всю статью, ни разу нигде не запнувшись.

— Да вы француз просто! Настоящий француз! — проговорил я с каким-то восторгом.

Он улыбнулся.

— Нет, только ученик знающего, опытного француза, — деликатно поправил он. — Ну-с, а теперь каких слов вы не знаете? — я скажу.

Оказалось, что я не знал едва ли не пяти-шести из каждых десяти слов.

Мошков даже удивился.

— Однако, вы слабоваты! — как-то конфузливо проговорил он. — Неужели и все так в пятом классе?

— Решительно все… Мы, что называется, ни в зуб толкнуть… Да, впрочем, с таким учителем, как мосье Ривьер, немного чему научишься! — нашел я оправдательный пункт. Надо же было найти его, чтоб совсем не шлепнуться лицом в грязь! — Он положительно преподавать не умеет!..

Мошков промолчал. Он перевел мне решительно все слова и даже объяснил их значение и происхождение. Пояснил, в каких случаях употребляется такое-то слово, и в каких — другое. Все это было для меня terra incognita.

Я, с величайшею благодарностью, записал все его объяснения в тетрадку, а потом, разумеется, дал их списать прочим товарищам. Статья оказалась прекрасно переведенной, и мосье Ривьер был в восторге. — Мне кажется, что вы не обошлись без чьей-то помощи, господа, — заметил он нам после класса, и улыбнулся, — вам помогал Мошков? не правда ли?

Помню, вот как сейчас, выражение лица Мошкова при этом вопросе. Он как-то пытливо взглянул на всех нас и только хотел сказать: «господа! неужелиже вы солжете»? Но он тотчас же успокоился: мы не солгали и заявили прямо, что нам, действительно, помогал Мошков; что он сказал нам чуть ли не все слова, так как они были нам положительно незнакомы, а лексиконов у нас почти ни у кого нет.

— Ну, да, так я и думал, — говорил Ривьер. — Только насчет слов, вы, кажется, ошибаетесь. Не незнакомы они вам, а вы их просто забыли! Да! ленитесь вы, господа, ленитесь! — И он вышел из класса.

— А что, г. Мошков, — спросил после урока Матвеев, — что, если бы мы сказали французу, что самостоятельно перевели эту статью и что нам никто решительно не помогал? — И Матвеев насмешливо улыбнулся.

Он, очевидно, хотел подтрунить над «поборником истины», но, что называется, гриб съел!

Мошков взглянул на него с удивлением и потом усмехнулся.

— Не думаю, чтоб вы могли это сказать! — подчеркнул он. — Такая ложь свойственна разве мальчишкам, ученикам первого класса, а вы, ведь, уж взрослый мужчина!

Матвеев смешался и не нашел что сказать

— Молодец Мошков! — одобрил Дьяченко. — Так и надо его, протобестию! Что он над вами подтрунивает? Он, видите ли, прозвал вас «поборником правды и истины»…

— Да? — переспросил Мошков. — Но это слишком лестное для меня название. Дай Бог, чтоб я, хоть когда-нибудь заслужил его!

Дьяченко замолчал тоже. Он тоже не нашел что сказать.

— Однако, это, господа, гусь! — говорил он как-то потом. С ним положительно надо ухо востро держать: он за словом в карман не полезет!

И точно, Мошков никогда не лазил в карман за словом. На плоские шуточки Августа Карловича Либенталя, обращенные иной раз к нему, он отвечал тоже контр-шуточками, но

только не такими, разумеется, плоскими, а, напротив, умными, но отвечал так вежливо, так деликатно, что Август Карлович понял, наконец, с кем он имеет дело, и окончательно перестал с ним шутить. Матвеев тоже уж не пытался больше подтрунивать над Мошковым да и никто из нас не пытался. Мы все превосходно поняли, что в этом пятнадцатилетнем мальчике, кроме его нравственных качеств и прекрасного знания французского языка, сидел также и большой запас остроумия, а остроумием этим никто из нашего пятого класса не мог похвастаться. Мне даже и теперь порой странным кажется: как это мы, такие великовозрастные ребята, не считавшие себя, конечно, за дураков, вдруг признали над собой преимущество какого-то мальчугана, чуть-чуть не преклонялись пред ним! А это было, действительно, так; я ничего не выдумываю, не прибавляю. Но, впрочем, по некотором размышлении, я прихожу к тому убеждению, что иначе и быть не могло… Почему, именно, тому следуют пункты далее. Мошков, действительно, победил нас…

IV.

Учился Мошков прекрасно и в пятом классе шел положительно впереди всех нас. Способности у него были отличные и такая же отличная память. Но мы ему ни капельки не завидовали. Да и не в таком мы возрасте были, чтоб завидовать разным «четверкам» и «пятеркам». Это в первых трех-четырех классах, где народ был помоложе, случались еще порою соревнования: старались друг друга перещеголять, заткнуть за пояс. Ну, а в остальных классах такого соревнования не было. «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» и были вполне довольны, если не «проваливались» на экзаменах, и наш аттестат пестрел только одними «тройками».

— Да вы это из-за чего стараетесь-то, из кожи лезете? — спросил я как-то Мошкова.

Он посмотрел на меня с удивлением.

— То-есть как это из кожи лезу?

— Да гоняетесь за пятерками да четверками. Книгу, что ли, хотите получить на акте? похвальный лист?

Он усмехнулся.

— А, так вы вот о чем! Но за четверками и пятерками я не гоняюсь, они сами ко мне приходят… Память у меня очень хорошая: прочтешь, раз и чуть не все наизусть помнишь… А только учиться мне хорошо непременно надо… Необходимо даже…

— Зачем же это? Не все ли равно, какой вы получите аттестат, лишь бы аттестат был, а не простое свидетельство…

— Да мне и мало одного аттестата-то.

— Медаль, значит, хотите серебряную?

— Золотую даже! — улыбнулся он.

Я посмотрел на него с изумлением.

— Вот как!.. Так вы, значит, человек-то самолюбивый!.. А я этого и не подозревал даже…

— Нет, тут дело не в самолюбии… Дело в том, что мне надо, необходимо надо, *первым* окончить гимназию, и непременно с золотою медалью… Она, ведь, имеет вес… Затем *первым* же

поступить в университет и *первым* его окончить.

Я ничего решительно не понимал.

— Зачем же вам это?

— Зачем? А я, видите ли, хочу сделать *карьеру*, — подчеркнул он. — Непременно карьеру!.. Ведь, все эти отличные аттестаты, золотые медали, дипломы университетские имеют большое значение. Они дадут мне возможность получить хорошее место, а хорошее место даст мне хорошие деньги... Понимаете?..

Но я понимал еще менее.

— Что ж, вы любите, что ли, деньги? — спросил я.

Он усмехнулся.

— Сохрани Бог! деньги мне просто необходимы...

— Зачем?

— Да так... по семейным обстоятельствам...

Мошков вдруг замолчал и переменил разговор.

— Вы давеча мне говорили об этой задаче из геометрии... Вы что-то не понимаете в ней, объяснить? Я понял. Задача совсем немудреная...

— Очень был бы вам благодарен.

Я только теперь сообразил, что поступил глупо и нетактично, приставая к Мошкову с вопросами: зачем да почему? А мне то, какое дело? Он оказался гораздо вежливее и деликатнее меня... Но из этого разговора я понял, что у Мошкова есть цель в жизни: он ищет карьеры, денег, но только не из простого глупого честолюбия (и что за глупый вопрос предложил я ему: «вы, значит, тоже честолюбивы?» и еще глупее того: «вы любите деньги?..» Это Мошков-то!), а, как он сказал, «по семейным обстоятельствам». Мошков был беден. Это было для всех нас вполне очевидно. Как знать? быть может, у него большая семья: дряхлый, больной отец, куча братишек и сестренок мал-мала меньше. И вот он поставил целью... Но тут мне почему-то вспомнилась богатая бабушка, которая нанимала ему гувернера... Отчего ж она не поможет им? Иль она умерла? Тогда она могла бы оставить наследство... Но тут я совсем запутался в разных предположениях. Я ясно понимал только одно, что Мошкову нужна карьера, деньги, но только удастся ли ему добиться своей цели? Он выглядывает что-то очень болезненным. Не зарождается ли в нем чахотка? Оно как-будто похоже что-то... А жаль было бы, очень жаль!..

Вообще личность Мошкова интересовала меня все больше и больше. Мне очень хотелось узнать его покороче... Хотелось бы познакомиться с его домашнею жизнью, с его родителями, но это мне все как-то не удавалось. Мошков, как я уже говорил, не отличался особенной откровенностью и вообще ни с кем из своих товарищей не сходился близко. Но вот случилось одно маленькое и, в сущности, пустое обстоятельство, но оно сблизило меня с Мошковым и даже подружило с ним...

Раз как-то зимой (дело было на святках) возвращался я домой из гостей, часу в двенадцатом

ночи. Ночь была ясная, светлая, но порядком-таки морозная… утром еще была заметная оттепель; снег на тротуарах подтаял; теперь его прихватило морозцем, и в результате оказалась настоящая гололедица… Я подвигался вперед с трудом, скользя и порой, чуть не падая… Вдруг вижу, выходит из одного дома какой-то старик, одетый не совсем по-зимнему: в стареньком осеннем пальтишке, облезлой меховой шапке, с толстым вязаным шарфом на шее. Старик, очевидно, был выпивши. Он вышел было довольно бодро из дома, даже вполголоса напевая что-то, и сделал пять-шесть шагов совершенно прямо; потом стал пошатываться и, наконец, вдруг со всего размаху брякнулся о мостовую… Я бросился к нему на помощь, стал поднимать его, но старик вдруг застонал.

— Что с вами? ушиблись, верно?

— Нога… нога, батюшка… — он поморщился. — Видно, она подвернулась как-нибудь, вывихнул… о-ой!..

С трудом, при моей помощи, он поднялся на ноги, сделал два-три шага и со стоном опустился на тротуарную тумбу.

— Нет, не могу… совсем не могу идти!.. — прохрипел он. — Вывихнул, видно… Эх, горе какое!.. как быть-то? Не ночевать же на улице… Да и извозчиков совсем нет…

Я оглянулся по сторонам; действительно, нигде не виднелось ни одного извозчика.

— Извозчик! — гаркнул я на всю улицу, но вопль мой так и остался без ответа.

— Лучше и не кричите, горло только надсадите! Теперь их нигде ни одного нет…

Действительно, я и забыл, что в нашем городе ночной извозчик — большая редкость. Они все часов в 10 или даже с 9 вечера разъезжаются по домам.

— О-ой!.. — опять простонал старик и стал потирать ногу сухой, дрожащей рукой. — Ну, что вот тут прикажете делать!..

— Да вы, где живете? далеко отсюда? — спросил я.

— Нет, близко совсем, через улицу…

— Так я как-нибудь доведу вас… Ступать-то вы можете хоть немного?

Старик попробовал.

— Да, могу… боль только… такая боль!..

— Ну, обопритесь на меня покрепче, вот так!.. А теперь палку возьмите…

И я подал ему свою трость. Я точно знал, что она мне понадобится, обыкновенно, я ходил без трости.

— Ну, что? ничего?

— Ничего, дойду как-нибудь… близко… Благодарю вас, молодой человек! Если б не вы, так просто хоть замерзай на улице! И замерз бы!.. Позвольте узнать вашу фамилию.

Я сказал.

— Ну, а моя — Мошков… Слыхали, может? — И он вдруг как-то подозрительно на меня покосился.

Мошков… Так вот оно что! Уж не отец ли он нашему?

— Вы ничего обо мне не слыхали? — спросил он опять.

— Нет. А что?

— Да так… обо мне мало кто говорит хорошее… Впрочем, уж я привык… о-ой!.. — опять застонал он и остановился.

— Вы отдохните немного, — предложил я, — присядьте вот тут на тумбу… Холодно вам? озябли?

— Нет, ничего, я привык!.. Вы думаете, пальтишко-то у меня осеннее? Что ж, и шуба была когда-то… была да сплыла! — (На морозе он начинал больше пьянеть). — Ну, вот, я алкоголем и согреваюсь… И теперь согрелся маленько… О-ой!.. Ах, Господи!.. Согрелся у Гаврилы Петровича… Он-то принимает меня и вором не называет…

— И *вором* не называет! — мысленно повторил я. — Что это он, с пьяна, что ли?

— Если б не алкоголь этот, молодой человек, ну, точно, оно трудненько бы приходилось! Ведь, им только и согреваешься… А Федя, тот протестует; стыдит, корит меня… Ведь, это, говорит, бесхарактерность, папа! Эх!.. Э, да что тут! — и он махнул вдруг рукой. — Идемте, молодой человек! Уж доведите старого пьяницу!.. Еще десяток, полтора сажен, и я у себя в конурке!..

«Ну, да, он, точно, отец его. Мошкова зовут Федором. Бедность непроходимая и… алкоголь»!

— Скажите, пожалуйста, — обратился вдруг я к нему, — Мошков, гимназист, ваш сын?

— Да, сын. А вы его разве знаете?

— Еще-бы! Мы учимся с ним в одном классе. Я гимназист тоже.

— А, вот как! — удивился старик. — Очень рад! Ну, что, как вы находите моего Федю! нравится?

— Да, он хороший, славный! Мы все полюбили его.

— Да? — И радостная улыбка вдруг озарила его старое, сморщенное лицо. Не правда ли, он славный такой, добрый мальчик. И любит меня, очень любит, хоть и корит, бранит зачастую, что рюмочки я придерживаюсь. Что ж, он, ведь, прав! А я-то разве оправдываюсь? Слабость, что станешь делать! Слабость, молодой человек! Один из многочисленных недостатков истой русской натуры. Чуть горе какое, чуть человек упал духом, сейчас забвения в рюмке ищет! Скверно! Не пейте, молодой человек, никогда не пейте! Любит меня, очень любит! — продолжал он, с трудом ковыляя по мостовой и изредка морщась и покряхтывая от боли. — Уроки теперь дает, кое-что зарабатывает.. Известно, гроши какие-то. Здесь разве найдешь выгодные уроки? И все мне отдает, все, до одной копейки! Приходит ко мне почти каждый день.

— Так он не с вами живет?

— Нет… у дяди живет. Жилинский, советник казенной палаты, дядей ему приходится по

матери, так у него. Он за него и за ученье платит. А у меня ему, где жить!.. Мне и самому, ведь, порою есть нечего. Я тем и живу только, что прошения по трактирам строчу да даю юридические советы. Не правда ли, прекраснейшая профессия? — горько усмехнулся он. — И ровно столько дает, чтобы не умереть с голода. Ну, он еще, Федя, спасибо ему, помогает, а то, ведь, я не один: при мне, ведь, еще трое детей: две девочки, мальчик... О-ой! нога-то опять! Вот наказание!

У меня сжалось и как-то заныло сердце… Так вот для чего Мошков хочет сделать себе карьеру!.. Теперь я все... все понимаю!..

— Благодарю вас... душевно благодарю, молодой человек! — говорил старик и стал пожимать мне руку дрожащими пальцами. — Вот я и дома!

Теперь мы стояли около маленького одноэтажного домика с покосившимися, вросшими в землю оконцами. Я знал этот дом. Принадлежал он какой-то мещанке Мироновой, и в нем всегда жила страшная беднота, голь. И я понял, почему старик решительно отклонил мое предложение довести его до квартиры, до самой постели даже. Он, очевидно, стыдился своей нищеты...

— Нет, вы не ходите уж, лучше! — говорил он. — Там грязновато у меня... холодновато... Да и ребятки спят… Как-бы еще не разбудить, пожалуй… Прощайте, молодой человек! Еще раз душевно благодарю вас!..

И он с легким кряхтеньем скрылся за низенькой, покосившейся дверью, которая, очевидно, никогда и не запиралась на ночь.

Я вернулся домой и лег, но долго не мог уснуть. Невеселые мысли приходили мне в голову.

— Так вот оно в чем дело-то... вот в чем!.. — повторял я. — Одного только не понимаю, что значит его выражение: «он принимает меня и *вором* не называет?» Что же это значит? Украл он разве что-нибудь или подозревают его в воровстве?..

С такими мыслями я и уснул.

Утром, часов в 11, я только что выпил стакан чаю, вошла Марья и сообщила, что меня кто то спрашивает.

— Кто такой?

— Не знаю, гимназист какой-то.

— Так позови его!

Дверь отворилась. Я обернулся. На пороге стоял Мошков, — Федор Мошков.

V.

— Ах! Федор Васильевич! Какими судьбами? — удивился я, поднимаясь ему на встречу.

Да и было чему удивляться. Раз десять, по крайней мере, приглашал я к себе Мошкова и, должен теперь сознаться, приглашал, большею частью, не без корыстных целей. То надо было решить какую-нибудь задачу, а самому посидеть над ней, поломать голову, разумеется, было лень. То заданный перевод с русского на французский оказывался необыкновенно трудным: в

нем попадалось пропасть незнакомых слов, да, кроме того, грамматика, разные галлицизмы. Вообще не могу теперь вспомнить без краски стыда, как часто я, да и все мы, пятиклассники, эксплуатировали знания и способности Мошкова! Он с величайшей охотою показывал все, объяснял, растолковывал, разжевывал куски, казавшиеся нам жесткими, а мы брали на себя только глотать их. Но на все приглашения завернуть к кому-нибудь из нас, он отказывался, отговариваясь недосугом.

Но не всегда же, впрочем, приглашал я его только из корыстных целей. Хотелось мне вызвать Мошкова на разговор, откровенно потолковать с ним, заглянуть поглубже в душу к нему и посмотреть, что в ней такое творится. Но все старания мои были тщетны. Мошков не являлся, да и все тут. Самому же идти к нему было как-то неловко: он не звал, — не силой же, ведь, навязываться! Раз как-то я было попробовал. Предстояло решить какую-то головоломнейшую задачу.

— Я к вам, Мошков, зайду вечерком, — закинул я было удочку.

Он как-то замялся.

— Зачем же? Не безпокойтесь, пожалуйста. Задача-то не очень мудреная, и я ее вам завтра же объясню в классе до начала урока. Это займет всего каких-нибудь полчаса. Придите только пораньше.

Я не настаивал.

И вот Мошков сам, без всякого приглашения, является вдруг ко мне. Что ж означает сей сон? Ах, да, я понял: должно быть, это вчерашнее маленькое приключение.

— Ну, что ж, раздевайтесь, Федор Васильевич, садитесь, пожалуйста! Ей Богу, я так рад, что вы ко мне завернули! Такой вы странный, право, ведь, вас и на аркане не затащить! Чаю вам, не угодно ли? Я сейчас.

— Пожалуйста, не беспокойтесь!.. Чаю я не хочу — пил…

Мошков был заметно смущен. С минуту, если не больше, стоял он, как-то неловко переминаясь с ноги на ногу, на пороге и мял и тормошил свою старенькую фуражку с полинялым красным околышем. Наконец, он оставил ее в покое, сбросил пальто и сел.

— Не хотите ли папироску? — предложил я.

— Благодарю вас, я не курю…

Мошков кашлянул, потом полез в карман за носовым платком и как-то смущенно и усиленно высморкался.

— А я пришел к вам, А. П., благодарить вас, — начал он, — я вам так признателен… так обязан!.. — И он протянул мне свою худую руку с длинными, тонкими пальцами.

— За что же это? помилуйте! — удивился я и в то же время подумал: «ну, да, так и есть; это вчерашнее приключение заставило его сделать мне визит».

— Ведь, если-б не вы, так отец замерз бы на улице… Вы знаете нравы нашего богоспасаемого городка, — слабо улыбнулся он. — Патриархальность полнейшая!.. В 12 часов ночи все спят, не исключая и городовых, конечно. И хоть всю ночь кричите вы, надрывайте горло, вряд ли кто

услышит!.. А без вашей помощи отцу положительно было бы не добраться до дому… У него оказался довольно серьезный вывих.

— Скажите, жалость какая!.. Ведь, он упал на моих глазах… Я не успел подскочить, поддержать его… И гололедица же вчера была! Не мудрено поскользнуться…

— Особенно, когда человек пьян… — тихо проговорил он и опустил глаза.

— Ну, вот, уж и пьян!.. Он так только чуть-чуть выпил… Он из гостей возвращался… Да и как же теперь не выпить, ведь праздники! — усмехнулся я. — Я сам вчера выпил в гостях четыре рюмки портвейну…

Мошков вздохнул и поднял глаза. В них светилась грусть…

— У него на этот счет каждый день праздник! — говорил он. — Он каждый день пьет… и пьет иной раз… до безобразия! — с трудом выговорил Мошков. — И так у нас много горя, много забот, а тут еще…

Он замолчал. Я посмотрел на него. Мошков казался совсем убитым и нервно вертел пуговицу у сюртука. Но вот он вдруг поднял голову и как-то пытливо заглянул мне прямо в глаза.

— Конечно, теперь вы многое знаете, — говорил он, и голос его слегка дрожал, — то знаете, что я всегда так тщательно старался скрывать от других… Старик мой не из молчаливых, а тут еще выпито было… Он вам говорил что-нибудь?

— Ничего особенного. А что?

— Не говорил о своей жизни, о своем прошлом?.. Вот, видите ли, А. П., я вас считаю человеком порядочным… хорошим даже… но все-таки знаете… Иной раз и хороший человек может делать неверные выводы и заключения… Отец ничего не говорил вам о своей службе?

— Нет… Он говорил только, и то намеками, что прежде он жил хорошо, а теперь его одолела бедность… что он живет только тем, что составляет прошения… Затем о вас говорил, хвалил вас очень… Если бы, говорит, не Федя, так было бы совсем скверно… уроки, мол, дает он, и все что ни зарабатывает, отдает мне до последней копейки… Он любит вас, Федор Васильевич, очень любит!..

Грустная улыбка пробежала по губам Мошкова.

— Если-б любил, так больше бы меня слушался, — говорил он. — Не пил бы так, не огорчал меня…

— Не будьте же слишком строги! Конечно, пьянство большой недостаток, порок, но оно, ведь, не преступление!.. Отец ваш сам сознает, что скверно, нехорошо делает, но он слаб, и удержаться не может… Он, наконец, говорил, что у него какое-то горе, вот он и пьет…

— Горе… Да, горе, большое горе!.. Но это еще не повод… Мало ли у кого есть горе? так всем и пьянствовать?.. Слабость какая-то, малодушие, бесхарактерность!.. Нет, я, при всей моей любви к отцу (а я, ведь, тоже крепко люблю его!) не могу ему простить этого! Его пьянство мучит, терзает, порой даже бесит меня!.. Ну да, что говорить, он человек несчастный!.. Он так много вынес и вытерпел… И теперь терпит… Не дай Бог никому быть на его месте!.. Я понимаю, вполне понимаю все… Но только пить-то зачем?..

— Простите, Мошков, — заговорил я, — но я тут очень немногое понимаю… Не можете ли вы объяснить мне…

— История длинная, А. П., и я удивляюсь, как вы о ней ничего не слыхали!.. Ведь, здесь провинция: толки, сплетни… Да, длинная это история… — продолжал он. — Тяжело говорить о ней… но я расскажу вам ее в двух словах… Отец служил казначеем… Он был всегда добрым, простым, до глупости иной раз простым человеком… К нему обратился один из его сослуживцев… Беда с ним случилась, какая то. Ему до зарезу нужны были деньги, полторы тысячи… Он плакал, просил, умолял отца, чтоб тот дал ему из казенных и клялся всеми святыми, клялся женой, детьми, что возвратит эти деньги через месяц… Он говорил, что не подлец же он, что понимает, чему подвергается отец за растрату казенных денег… И отец не мог устоять: он дал ему эти деньги…

И тот оказался, действительно, подлецом? — спросил я.

— Да, подлецом!.. — В глазах Мошкова вспыхнул вдруг огонек; он крепко, едва не до крови закусил себе губы.

— Прошло две недели, вдруг сделали внезапную ревизию в казначействе… Оказалось, что не хватает полуторых тысяч…

— Но он, ведь, не мог их внести, Федор Васильевич, — перебил я, — он обещал через месяц только…

— Да, он не мог… Но он все-таки оказался величайшим мерзавцем и подлецом!.. Он мог бы признаться, сказать ревизору, что отец ему дал эти деньги, по его просьбе… Он промолчал…

— Но это, ведь, подлость! — возмутился я. — Этого быть не может!..

Мошков опять улыбнулся какой-то болезненной улыбкой.

— Однако, было, А. П., было! — говорил он. — Конечно, другой на месте отца взял бы да просто и указал на этого негодяя, и он смутился бы и признался… Он и так, говорят, во время ревизии сидел ни жив, ни мертв; на нем, говорит отец, лица не было… Подлец боялся просто, что отец на него укажет… Но тот не хотел, *не мог* быть доносчиком…

— Позвольте, Мошков! — перебил я, — ведь, в этом случае не было бы никакого доноса… Он только бы обличил негодяя и все тут…

— Вы думаете? Может быть… Но отец не обличил его… Его спросили: куда девались эти деньги, полторы тысячи? Он отвечал, что не знает; что он не брал из них для себя ни одного гроша. «Так что ж, в таком случае, их крысы съели?» — сострил ревизор… Вы знаете, А. П., чем могла кончиться эта история? Отца лишили бы прав, как вора, и сослали в Сибирь… Но тут, видите ли, приняли во внимание его честную, бескорыстную службу (он прослужил казначеем 24 года, и никогда у него не пропадало ни одной копейки). Дело замяли и ограничились тем, что уволили его от службы… Конечно, это было очень гуманно… Его не ошельмовали публично, не сказали во всеуслышание: ты вор! а только оставили его в *сильном подозрении*… Но от этого, ведь, не легче, А. П., *нам* не легче!.. Конечно, история эта не замедлила разнестись по городу, и все, знавшие когда-либо отца, разделились на две партии: на тех, которые признали его совершенно невинным (он говорил потом, что эти деньги дал одному человеку на месяц, но только кому — не сказал), и на тех, которые признали его вором. А таких было большинство… И, разумеется, они отплевались от него, открестились… В числе последних была и моя бабушка по матери. Она очень богатая женщина. Отец жил только

одним жалованьем и содержал на него всю семью. Нас было тогда: он, мать (она четыре года тому назад умерла от чахотки; конечно, подействовала на нее эта «история»!), затем я и еще трое ребят мал-мала меньше: две девочки и один мальчик... Я — самый старший из всех и имел почему-то счастье понравиться бабушке-аристократке... Бабушка решила дать мне блестящее образование и наняла гувернера, учителей... Отец, разумеется, не противился этому. Но вот случилась эта «история», и бабушка от нас отвернулась... Она не могла почему-то уверовать в невинность отца и, наравне с прочими, считала его вором... И вот, все семейство подверглось опале (на дочь, мать мою, она давно косилась и никак не могла вполне примириться с нею: она вышла за моего отца против ее желания). Я, впрочем, не подвергся этой опале... Бабушка предложила отцу взять меня к себе и продолжить мое блестящее воспитание. Тот, конечно, не согласился. Да и я тоже рассердился на нее за то, что она пристала к *тем,* и сам ни за что бы, не пошел к ней... И вот, гувернер и учителя исчезли, а меня отдали в гимназию. Некто Жилинский, мой дядя по матери, согласился платить за ученье. Отец, ведь, после отставки не мог располагать и десятью лишними рублями в год!.. До пенсии он не дослужил и ему выдали только единовременное пособие... Потом заболела мать... лечить ее надо было... пошли расходы... она умерла... Дела наши все .ухудшались, а тут еще отец начал попивать с горя, сперва понемногу, потом все больше и больше. Распродали и заложили все, что только у нас было, а затем наступила нищета. Отец все опускался и опускался. Я, ведь, ребенком еще тогда был, А. П., но я многое понимал, и все это еще и тогда терзало меня и мучило. Ну, а теперь!.. Отец — пьяница... нищий. Порою он чуть не умирает с голоду. Да это еще туда-сюда. Чем виноваты дети? Маше только десятый год, Оле восемь, а Пете одиннадцать. Грязь, нищета эта... что ж ожидает их в будущем? Порою подумать страшно!

Он замолчал и как-то беспомощно опустил голову, но потом снова поднял ее.

— Положим, я на себя надеюсь... и только на себя, — опять продолжал Мошков. — Я добиваюсь службы, хорошего места и денег, денег и денег! Вот для чего они нужны мне, А. П., вот для чего я хочу быть *первым*! Тогда, конечно, другое дело. Но только порой мне думается: а что если мечты мои разлетятся прахом? что, если я вдруг умру, ничего, ничего не добившись?

— Полноте! Что за глупости!

— Нет, не совсем глупости, А. П. Я всегда был таким слабым, болезненным. Моя мать умерла от чахотки. И вот мне порою приходит мысль: не получил ли я от нее зародыш этой болезни? А есть основания думать так: за последнее время у меня что-то стала побаливать грудь.

— Пустая мнительность! — попробовал было возразить я и в то же время искоса посмотрел на Мошкова и с трудом подавил вздох. Его худоба бросилась мне в глаза.

«А, ведь, пожалуй, что он и прав!» — подумал я.

— И что же было потом, Федор Васильевич? — переменил я вдруг разговор.

— Потом я поселился у моего дяди Жилинского и теперь живу у него. Он кормит меня, одевает, платит в гимназию и... и порою корит меня куском хлеба. Э, да что говорить! — Мошков вдруг вскочил и схватил фуражку.

— Куда вы, Федор Васильевич?

— Пора... мне надо еще забежать к отцу. Зайдите ко мне когда-нибудь, А. П. Я живу в доме Жилинского, на Дворянской. Тогда мы с вами еще потолкуем, ну, а теперь прощайте!

— Прощайте, Федор Васильевич! но, впрочем, позвольте. Еще два слова. Куда девался негодяй

этот… который, знаете?..

— Он прослужил еще год после отставки отца, а потом неизвестно куда скрылся из А. Он бросил жену, детей. Жена уехала к своей матери в деревню, в — скую губернию. Где он теперь — я не знаю, но я не теряю надежды, что когда-нибудь отыщу… непременно отыщу его… Прощайте, А. П.! — И Мошков скрылся за дверью.

В последних словах его звучала угроза. По крайней мере, мне так показалось. Не знаю, быть может, я и ошибся.

VI.

Я, разумеется, не замедлил воспользоваться приглашением Мошкова и в конце той же недели отправился к нему.

Дом советника казенной палаты Петра Петровича Жилинского был одним из лучших домов на нашей лучшей Дворянской улице. Положим, он был деревянный, как и большая часть домов А, но выглядывал таким крепким, прочным, солидным, что ему, казалось, и веку никогда не будет. К дому примыкал небольшой садик с пестреющими на клумбах пионами и георгинами, с посыпанными песком дорожками и беседкою в мавританском стиле. Разумеется, теперь ни пионов, ни георгин не было, а вместо них белел только снег, но летом они здесь превосходно цвели и служили предметом зависти чуть ли не всего города. На воротах красовалась блестящая, медная доска с надписью: «дом жены статского советника Марьи Григорьевны Жилинской», а на фронтоне — другая, гласившая, что дом застрахован в таком-то страховом от огня обществе.

В прихожей встретил меня солидный господин, лет 50, с гладко выбритым лицом, в золотых очках. Это и был сам Петр Петрович Жилинский.

— Вам что угодно-с? — обратился он ко мне, как-то странно наклонив на бок голову и вглядываясь в мое лицо.

— Я хотел бы видеть Мошкова. Он дома?

— Не знаю наверно-с. Вот потрудитесь пройти в эту комнату! — И он указал мне на какую-то дверь.

Я вошел в маленькую, полутемную комнатку, не отличавшуюся особенной чистотой. Должно быть, ее не особенно часто мыли. На полу было насорено; по стенам и углам виднелась паутина. Стол у окна, заваленный книгами и тетрадями, два-три стула сомнительной прочности и деревянная кровать в углу — составляли всю ее меблировку.

Мошков сидел у стола и что-то писал. При моем входе он поднял голову, обернулся, и на его бледном и как-будто еще больше похудевшем лице показалась улыбка.

— А, это вы? здравствуйте! — и он крепко пожал мне руку. — Садитесь, спасибо, что не забыли!.. Нет, не на этот стул, не на этот, у него ножка шатается, а вот сюда.

Я сел и еще раз оглянул комнату. Мошков заметил это.

— Уж вы извините… здесь не того… не совсем чисто, — говорил он. — Степанида почему-то не каждый день удостаивает заглянуть ко мне со щеткою или тряпкой… И пол тоже не каждую субботу моет. Да, впрочем, это меня ни капельки не стесняет… Не обращаю внимания…

Пустяки!

Очевидно, Мошков жил у дядюшки в некотором загоне. Вообще чистота в доме и на дворе была удивительная: плюнуть, что называется, негде было, а здесь…

— Ну что, как ваш батюшка? — начал я разговор. — Лучше его ноге?

Мошков немного нахмурился и закусил губы.

— Было бы лучше, конечно, если б он только… если-б не продолжал по-прежнему выпивать… — отвечал он каким-то сумрачным тоном. — Доктор ему строго настрого воспретил; говорит, что это вообще при воспалительных состояниях вредно, затягивает болезнь… Да он разве послушается? И я тоже сто тысяч раз говорил ему, нет! Упрямый, упрямый старик!

Мошков прошелся по комнате.

— И, спрашивается, на что пить? — с какой-то горечью говорил он. — На что? Денег у него было на прошлой неделе всего только один целковый… Я дал немного, там, рубля три, кажется… Итого четыре… А скоро надо и за квартиру платить, за комнату пять рублей. Дрова тоже нужны… У них там, ведь, порою, хоть тараканов морозь! У Петьки из сапогов пальцы выглядывают; у Оли чулок теплых нет, а он говорит: «я не могу не пить! Привык уж… Выпьешь рюмочки две-три и легче как-будто станет».

— Да может, и в самом деле… — попробовал было возразить я. — Мне кажется, вы очень уж на него нападаете…

— Пустое!.. — перебил Мошков. — Слабость, просто, одна, бесхарактерность! А еще мужчина! Э, да оставим это! Вот у меня просьба одна есть к вам. Давно уж я хотел обратиться, да все как-то стыдно было…

— Напрасно, Федор Васильич, напрасно! — укорял я. — Но в чем же дело? Я, знаете, что только могу…

— Дело в том, видите… До Рождества у меня было два урока: у Вихляевых и у Гагариных. Теперь остался только один. Гагарины уехали в Петербург… Так вот, не можете ли вы мне достать другой? Мне, знаете, очень и очень нужно!..

Я призадумался. Уроков у меня никаких не имелось в виду. Да и какие уж, там, уроки в нашем губернском городе!.. Разве у купца Коновалова; тот хочет, кажется, определить сынишку в гимназию, но с Коноваловым невозможно иметь никаких дел: он вечно пьяный, шутит, ко всем придирается.

— Не знаю, право, Федор Васильич…

— Да мне хотя бы дешевенький, рублей в пять… в три даже в месяц… Я и этим был бы доволен… Дела у отца очень плохи!.. (а он пьет еще!). Ему бы и три рубля были подспорьем.

— Не знаю, право, — повторил я. — Но я во всяком случае постараюсь… А вы другой работы не взяли бы, например, переписку?

— Все, что хотите, А. П. Только бы деньги дали!..

— В таком случае я вам могу достать. Положим, временную, и вы заработаете пустяки, каких-

нибудь рублей 25–30…

— Полноте! — обрадовался Мошков, и на его бледных щеках показался даже .румянец. — И вы называете это пустяками? Да, ведь, 25–30 рублей для меня капитал целый!.. Это, ведь, обеспечит их… даст им кусок, по крайней мере, на полтора, а нет, так и на два месяца!

Я не спросил, кого это «их»? Я знал, о ком говорил Мошков. И все для них, все, он о себе самом нисколько не думает!..

— Я буду вам так обязан… так благодарен, А. П.! — говорил Мошков и крепко пожимал мне руки. — Уж вы, пожалуйста, похлопочите!

— Всенепременно!..

— Федя! можно войти? — послышался вдруг за дверью голос Жилинского.

Мошков сильно поморщился и закусил губы.

— Конечно, дядюшка! — ответил он и. как-то смущенно взглянул на меня.

Жилинский вошел. Он был уж теперь не в халате, как раньше, а в сюртуке, напомаженный, надушенный. Но от всей его выглаженной, вылощенной фигуры веяло каким-то холодом, несмотря даже на приветливую улыбку на гладко выбритом, румяном лице.

— Надеюсь, что ты хоть сегодня будешь обедать с нами? — обратился он вдруг к Мошкову.

— Нет, дядюшка, и сегодня не буду.

— То-есть это как нет? почему нет? — Ведь, это, наконец, становится странным, мой друг, чтоб не сказать более.

— Вы сами мне говорили…

— Э, полно, ничего я не говорил! А если и сказал тогда… так не всякое же, ведь, лыко в строку! Вот вы, молодой человек, — вдруг обратился ко мне Жилинский, — вы учитесь с ним в одном классе…

«Откуда он это узнал?» — с удивлением подумал я.

— Товарищ его… быть может, друг… Вы друг, ведь, ему?

— Да, друг, — отвечал я, решительно не понимая к чему все это клонится.

— В таком случае я могу говорить с вами вполне откровенно. Вот выслушайте меня и судите сами.

— Оставьте, дядюшка! — проговорил Мошков и вдруг покраснел, смутился.

— Чего оставь! Я буду говорить правду, одну только правду. Он мой племянник, — обратился ко мне Жилинский, — отец его сделал поступок… гадкий, скверный поступок.

— Дядюшка!

— Что ж, мне хвалить его, что ли? Он сделал гадкий поступок и его исключили из службы.

Благодаря этому, он постепенно дошел до бедности, нищеты. Я сделал, что мог, как родственник: я взял к себе его старшего сына, моего племянника, дал ему комнату, стол, стал одевать его, платить за него в гимназию.

Я невольно взглянул на старенькие, заплатанные сапоги Мошкова, которые он носил едва ли уж не второй год, и речь «об одевании» показалась мне немного странной. Да и к чему этот господин ведет ее?

— Я сам человек небогатый, — продолжал Жилинский, — и делаю что могу… Меня, разумеется, не разорит лишний кусок хлеба, который я дам племяннику, но он, представьте, теперь сам отказывается от него и вот уж месяц, как не желает обедать с нами. «Я не хочу одолжаться!» — говорит он. Скажите, как вам это покажется?

Я все время не спускал глаз с Мошкова. Он то краснел, то бледнел и чуть не до крови кусал себе губы.

— Позвольте, дядюшка! — перебил он. — Не сами ли вы мне говорили, что я вам в тягость? Вы не раз укоряли меня куском.

На лице г. Жилинского выразилось величайшее изумление, чуть не ужас, он передернул плечами и обратился ко мне:

— Ну, вот, изволите видеть, молодой человек! — говорил он. — Изволите видеть!.. Он говорит, что я его укорял куском… я!!. его!!!

— А помните, вы тогда…

— Ну, что же, погорячился немного. Ведь, я человек тоже, а не святой. Погорячился, потом остыл. Это, кажется, и забыть можно бы. Я извинился даже перед тобой. Иль тебе мало этого показалось? Что ж, мне на коленях стоять надо было? руки тебе целовать? так, что ли?

Мошков усмехнулся горькой, иронической улыбкой.

— К чему вы все это говорите, дядюшка! Конечно, если бы раз только, а то, ведь, это потом чуть ли не через день повторялось… Что ж, я не мог вынести! Вы человек и я человек тоже. Я понимаю, что я вам обязан… что я вас стесняю, обременяю, сижу на шее. Но что же делать… Как это ни тяжело мне… Ведь, я говорил вам… помните? Еще два года, я кончу курс. Тогда я не буду уж больше стеснять, обременять вас, я в Петербург уеду. Ну, а потом расплачусь за все, за все расплачусь с вами…

Жилинский только руками развел, выслушав эту тираду. И вдруг он весь покраснел, плюнул.

— Ну, нет, с тобой совсем говорить невозможно, — злобно как-то прохрипел он. — Ведь, ты, после этого… ты… — И он выбежал вдруг из комнаты, сильно хлопнув дверьми.

— И вот, это повторяется чуть ли не каждый день! — с горькой улыбкой обратился ко мне Мошков. — И это из-за куска хлеба… Ах, Господи, если-б возможность только… если-б не отец, не сестры… да я бы, кажется… — Он заломил руки и быстро заходил, почти забегал по комнате.

Я молчал и чувствовал себя очень неловко.

— Но раз я не выдержал, А. П., не мог выдержать! — остановился вдруг он передо мною. — Он,

видите ли, не только стал укорять меня этим куском, это куда ни шло бы! Он чуть не прямо назвал отца вором, от которого все давно отвернулись… Вором!.. этого я не мог выдержать… Уж я не помню, что вдруг со мною сделалось… Я бросился на него, и… говорят, чуть не прибил… Гвалт поднялся, содом чуть ли не на всю улицу… Он мне грозил, что вышвырнет меня, как собачонку, из дому. Грозил, что добьется моего исключения из гимназии (исключения даже!). Но за меня заступилась его жена. Она хорошая, добрая женщина. Жаль только, что слабая, бесхарактерная. И дело уладилось. Я остался. И вот, теперь… вот, как видите.

Он отвернулся, и мне показалось, что на глазах его вдруг навернулись слезы. Я встал и торопливо начал прощаться.

Мошков меня не удерживал.

VII.

Разумеется, я не мог не поделиться с товарищами моими сведениями о Мошкове. Положим, я сознавал, что поступал не совсем красиво. Ведь, я в некотором роде выносил из избы сор, а Мошков так тщательно, так ревниво скрывал от других свое семейное положение. Но что ж делать? я не мог удержаться. Меня положительно восхищал, восторгал этот пятнадцатилетний мальчик! Какая сила воли, характера! Какая любовь к отцу, маленьким сестрам и брату! Как он энергично, настойчиво стремится к достижению цели: добиться карьеры, денег и обеспечить семью! Но не в одном этом состояло его дело. Он, во что бы то ни стало, хотел восстановить опять честное имя отца, смыть это пятно.

— Только бы мне найти Бирюкова! — говорил он, и в глазах его загорался вдруг огонек.

(Бирюков — это был тот негодяй, что подвел старика Мошкова).

— Ну, и что ж бы вы с ним тогда сделали? на дуэль вызвали? — улыбнулся я. — Иль просто убили бы, как собаку?

— Ни то, ни другое, А. П. Тогда он оказался негодяем, подлецом страшным, об этом что говорить. Но есть же, ведь, в нем что-нибудь и человеческое… а? как вы думаете? По крайней мере, я твердо держусь того убеждения: человека только тогда можно назвать погибшим (нравственно), когда его уложат в могилу. Мне кажется… я даже уверен, что как бы грязен ни был человек, но стоит, знаете, покопать хорошенько этот наросший на нем слой грязи, и оттуда блеснет чистое золото…

— Не знаю, может быть, Федор Васильич; но если это и правда, то во всяком случае очень редко случается. У нас, знаете, есть пословица: «горбатого могила исправит».

— А я не верю в эту пословицу! Ведь, есть, должно быть, в нем что-нибудь и хорошее. Только надо умело за дело взяться. В душе я ненавижу этого Бирюкова. Норой мне кажется, что я, действительно, был бы способен убить его: так много он нам зла сделал!.. Но я подавлю, конечно, в себе это гадкое чувство. Да, только бы мне встретить его. Я приложу все старания… душу пред ним свою выложу. И заставлю его сознаться!

Я скрыл улыбку. Мысль эта мне показалась довольно наивной. Но он так глубоко верил в нее, говорил с таким убеждением. И почем знать?.. Чего не бывает на свете?

И вот, я восторгался Мошковым, восторгался его характером, его благородною целью.

— Ну, что ты об этом скажешь? — спросил я Дьяченко, которому первому рассказал все, что узнал о Мошкове.

Он задумчиво покрутил усы.

— Что я скажу? Да только то, что он славный, хороший парень, и дай ему Бог здоровья и всяких благополучий! Вот что я скажу, голубчик! Потом я скажу, что не все, что ты мне сообщил, для меня ново. Я, например, давно слыхал о старике Мошкове, слыхал об его служебной истории.

— И не верил, конечно, что он украл эти деньги?

— Не верил! Затем я знал, что старик запил с горя, видал его сам не раз пьяным на улице. Знал, наконец, что он занимается составлением прошений по кабакам, но только не знал, что он живет в такой бедности, нищете и что у него маленькие дети на руках есть. Этого я не знал!

Дьяченко опять задумался и опять покрутил усы.

— А мне, знаешь, пришла одна мысль в голову, — заговорил вдруг он, — и мысль, кажется, не дурная… Фатер мой ежемесячно дает мне по пяти рублей «на пряники». Я человек вообще экономный, много не трачу на пустяки… Иной раз случается, что от пяти рублей не останется ничего, а иной раз и останется кое-что. Таким образом является некоторая экономия. Теперь в кассе у меня пятнадцать с чем-то рублей… Я их предназначал было, по правде сказать, на скрипку, скрипку давно я хотел купить… Ну, да прах с ней, со скрипкой!.. Потом мы обратимся к нашим однокорытникам к Матвееву. Семенову, Андерсону… Наверно, у каждого из них найдется какой-нибудь, там, целковый, два… Ты тоже дашь, по мере сил и возможности…

— Но я не понимаю, Дьяченко: зачем же это? Подписка, значит? на что?

— Ну, разумеется, уж не на кутеж. Подписка с благотворительной целью… Так, вот… Авось, наберется рублей сорок иль пятьдесят… Тогда ты возьмешь эти деньги и отнесешь их к старику Мошкову.

— А, вот оно что!.. — понял, наконец, я. — И ты думаешь, он возьмет эти деньги… на бедность?

— На бедность, разумеется, не возьмет… Об этом и говорить нечего… Он человек «пьющий», но самолюбия, гордости наверно не потерял… не из таких он!.. Нет, ты поступи так, знаешь, тонко, как-нибудь дипломатично… Ну, например, скажи, что ты из собственного капитала предлагаешь ему эти деньги взаймы, с условием уплачивать их, по мере сил и возможности… О нас только, смотри, ни словом не поминай, сохрани Бог!.. Чтоб все было шито-крыто!.. Ты одобряешь?

Я молча пожал ему руку.

Мы сообщили прочим товарищам об этой подписке, и они ее вполне одобрили… Собрали, действительно, пятьдесят рублей, и в тот же вечер я был командирован к старику Мошкову с строгим наказом: «действовать тонко, дипломатично».

В маленьких, полутемных сенцах дома Мироновой (в них пахло какою-то гнилью, плесенью и еще чем-то скверным) я чуть ни лоб в лоб столкнулся с какой-то грязной, растрепанной бабой. Она отскочила и, разумеется, выругалась.

— Ты что ж это, батюшка, белены объелся? — накинулась она на меня. — Прешь, сам не знаешь, куда!.. чуть с ног не сшиб!.. Полоротый!..

Я извинился: темно, мол, и затем спросил: где здесь живет Мошков?

— Это старик-то? седой такой?

— Да.

— А вон, эта дверь. — Она указала мне на низенькую, покосившуюся дверь, обитую старой рогожей и куда-то скрылась.

Я взялся уж было за скобку, но вдруг остановился и стал прислушиваться. Я узнал голос Федора Мошкова. Он говорил с отцом. Мысль о подслушивании, конечно, мне и в голову не приходила, сохрани Бог! Я просто как-то машинально остановился…

— Э. не толкуй, папа! — говорил Мошков, и в голосе его звучала нежность. — Или ты думаешь, что я не понимаю тебя? Понимаю, милый мой, дорогой…

— Вот ты коришь меня все этой водкой!.. — жалобно говорил старик. — Ах, Федя! Федя!..

— Ну, что ж, ты прости меня!.. Пойми, что мне самому тяжело, трудно!.. Слабость, — я понимаю это. Да ты и старый, больной: тебе надо и подкрепиться… Рюмка-другая тебя оживляет порой… Да только больше не пей, голубчик!.. Вот ты сегодня шесть рюмок выпил…

— Федичка! — застонал старик. — Не буду… ей Богу! . Ну, будь я проклят!.. Вот только рюмочку бы мне одну… только одну… Так голова трещит!.. Вчера я перепустил маленько… Поправиться…

— Так ты не поправился еще шестью рюмками?

— Вот то-то и горе, что нет!..

Послышался вздох, затем сдержанный сухой кашель.

— Ну, на, вот, тебе двугривенный.

— Федичка!

Я дернул скобку. Дверь как-то жалобно заскрипела, отворилась, и я очутился в крошечной, грязной, сырой и страшно холодной комнате… Покосившийся и растрескавшийся пол; единственное оконце, с наросшими на стеклах чуть не вершковыми слоями льда; какой-то трехногий стол; два стула, кровать. . И грязь всюду, грязь, сор!.. У стола сидела девочка, лет 10, бледная, худенькая, в стареньком ситцевом платье и повязанная каким-то старым большим платком… Она вязала чулок. Прямо против нее сидел такой же бледный, худенький мальчик и прилежно занимался клейкою гильз, верно на продажу. Целые пачки их, уже готовые, лежали пред ним на столе, но работа плохо подвигалась у мальчугана: его посинелые от холода, худые пальчики сильно дрожали… Старик Мошков лежал на кровати, с бледным, слегка опухшим лицом, Федор сидел у него в ногах.

Я молча остановился на пороге, пораженный этой картиною нищеты… Признаться, я даже не ожидал увидать ничего подобного. Оказалось хуже, гораздо хуже, чем я представлял себе. И сердце у меня больно заныло…

Мое появление произвело настоящий переполох. Старик приподнялся в кровати и с изумлением уставил на меня глаза. Федор вскочил, весь красный, точно его застали за каким-

нибудь очень нехорошим делом, замялся, сконфузился. Девочка выронила из рук чулок, мальчик рассыпал гильзы… Гость, очевидно, был явлением необычным… И, к довершению всего этого, я сам замялся, сконфузился.

Но вот молодой Мошков немного оправился. Он подошел ко мне и пожал мне руку.

— И как это вам вздумалось, А. П., сюда?.. — растерянно пробормотал он. — Зачем вы ко мне не зашли?.. Ведь, здесь… сами видите… — Он замолчал.

— Мне батюшку вашего повидать хотелось, — говорил я. — Справиться о его здоровье…

— Благодарю вас, благодарю молодой человек!.. Ведь, это, никак, вы довели меня тогда до дому?

— Да.

— Премного, много обязан!.. Без вас совсем бы замерз на улице… Здравствуйте, молодой человек!.. — Он протянул мне с кровати руку. — Простите, встать не могу, — слишком дезабилье!.. — И он конфузливо потянул на себя старенькое одеяло. — А ноге моей значительно легче… Спасибо Бейнерту, очень хороший доктор!.. Говорит, что через неделю, так, через две и выходить можно будет… Дай Бог!.. А то уж я, признаться, соскучился, да и профессия моя юридическая страдает! — Он улыбнулся. — Садитесь, молодой человек!.. Петя, подай-ка стул!..

Мальчик поспешно вылез из-за стола и бросился подавать стул. Федор Мошков молчал и вопросительно поглядывал на меня. Я молчал тоже, не зная, как и с чего начать… Но, вот, наконец, я собрался с духом.

— Василий Яковлевич! — обратился я к старику. — Я к вам пришел с одним предложением… с просьбой…

— С просьбой?.. ко мне?.. — удивленно переспросил Мошков.

— Да… Дело в том, что мне известно из слов Федора Васильевича, что вы находитесь теперь в таком положении… что вы нуждаетесь в деньгах… И вот, я вам хотел предложить небольшую сумму, всего пятьдесят рублей…

На губах старика мелькнула было радостная улыбка. Но вдруг он нахмурился. Я покосился на молодого. Тот покраснел.

— Но это невозможно, А. П.!..

— Позвольте, Федор Васильевич, — остановил я. — Вы выслушайте до конца… Я вовсе не думаю предлагать вашему батюшке милостыню, я знаю, что он не примет ее… Нет, я даю эти деньги в долг…

— Но мы не можем делать долгов… Мы и так…

— Позвольте!.. И этот долг он может мне возвратить, когда угодно, — хоть через десять лет…

Федор Мошков закусил губы.

— А это разве не та же благотворительность, А. П.?.. — говорил он, — но только немного замаскированная… Знаю, дескать, что с тебя не получишь, так я…

— И вам не стыдно, Федор Васильевич? И вы обращаетесь так ко мне? — укорил я.

Мошков замялся.

— Простите, А. П., но я говорю правду…

— Нет!.. Ну, да, пускай деньги не возвратят мне… Скажите, пожалуйста, что же я от этого потеряю? Ничего ровно! Родители мои люди со средствами… Они часто дают мне деньги, и я их трачу по пустякам. Да вы понимаете; я, ведь, счастлив буду, если эти деньги уйдут не на какие-нибудь глупости! Подумайте! Вы не имеете даже права отказываться. Ведь, дров купить надо (у вас здесь холодно, как на улице!) платье детям… чулки, сапоги… Ах, Господи! Да разве вы сами не понимаете!..

Федор Мошков молчал, по-прежнему кусал губы. В нем, очевидно, происходила борьба. Старик расчувствовался.

— Руку, молодой человек! вашу руку! — говорил он. — Вы честный и благородный? Федя! Нам надо взять эти деньги. Они, ведь, с нас петлю снимут!

— Но, папа…

— Никаких но, Федор Васильевич, никаких но! — вмешался я. — Просто, возьмите, вот, и все тут! И я подал ему пачку.

Мошков протянул к ней руку. Она дрожала.

— Возьмите, возьмите, пожалуйста!

— В таком случае, я вам дам расписку. Сейчас напишу, а отец подпишет. Петя, достань мне чернила, перо, клочок бумаги.

Тот мигом исполнил его приказание. Мошков написал расписку; старик дрожащей рукой подписал ее. Я взял эту серенькую четверку и, не взглянув на нее даже, разорвал в клочки…

Мошков с минуту пристально посмотрел на меня; потом молча встал и крепко стиснул мне руку.

— Благодарю вас, А. П., благодарю! — пробормотал он. — Я вас вполне понимаю… Простите, я не хотел вас обидеть, но я…

Он замолчал и вдруг отвернулся. Мальчик и девочка смотрели на меня с удивлением, вытаращив глазенки.

— Прощайте! — проговорил только я и повернулся к двери.

— Постойте… постойте, молодой человек! — с каким-то отчаянием закричал старик, но я уже был за дверью и крепко прихлопнул ее.

Что было там после меня — не знаю.

VIII.

«Репетиции» давно уже кончились, и в нашей гимназии наступило самое горячее время — подготовка к экзаменам.

Я просмотрел программу экзаменов по билетам; просмотрел учебники, руководства и записки и положительно пришел в ужас! Оказывалось, что я знал (да и то еще под сомнением) не более половины того, что требовалось, а остальную приходилось учить чуть не вновь. Труд предстоял мне феноменальный, египетский! Положим, я мог бы просто, без дальних околичностей, взять да и махнуть рукой, как это сделал, напр., один из моих одноклассников, Андерсон. Тот тоже заглянул было в программу, в учебники — и… и бросил все это в угол.

— На третий год, значит? — спросил я.

— На третий, — равнодушно отвечал он.

Но мне на третий год оставаться было зазорно. Отец и то уж не раз упрекал меня, что я и в третьем, и в четвертом классах сидел по два года: не худо бы, мол, в остальных и по одному посидеть только…

— А то, ведь, ты этак с седой бородой выйдешь! — усмехался он. — Стыдненько, братец!

И я решил заняться серьезно и основательно.

Весна в этом году стояла ранняя, теплая. В конце марта еще стаял снег и показались на деревьях почки, а в последних числах апреля (после святой), когда нас «распустили» для подготовки, уже все кругом зеленело. Легкий и теплый ветерок врывался ко мне в окно и шаловливо шелестил страницами «Химии»… В саду чирикали птички. Тянуло как-то на улицу, на чистый воздух из душной и пыльной комнаты, но я с ожесточением курил папиросу за папиросой и твердо выдерживал характер: подзубривал и подзубривал.

Но, впрочем, я не всегда выдерживал. Усталый, с тяжелою головой, переполненной разными химическими формулами, я вдруг закрывал книгу и уходил к Мошкову.

— Еще успеется! — думал я. — Дано на подготовку четыре дня, а прошло два только… (но я забывал, что у меня не прочитано и половины). Успею!..

В саду Жилинских шла деятельная работа. Дворник Степан, с лопатой в руках, орудовал что-то около клумб, а Петр Петрович в халате и в фуражке с кокардою на голове собственноручно засевал цветочные семена. Я потихоньку проскальзывал, точно не замечая Петра Петровича (он мне просто до тошноты не нравился), и проходил к Мошкову. Я заставал его за столом, всегда заваленным книгами и тетрадями, склоненного над учебником.

— Ну, что, как дела, Федор Васильевич? — спрашивал я.

Он поднимал голову и, не вставая, протягивал руку.

— Здравствуйте!

— Как дела?

— Подвигаются. А у вас?

Я отвечал только вздохом.

Теперь никто уж в нашей гимназии не сомневался, что у Мошкова чахотка. Он худел и худел; сухой, прерывистый кашель его то и дело раздавался в классе и заставлял нас по временам вздрагивать; на бледных и впалых щеках выступал порою зловещий румянец пятнами; в глазах

замечался какой-то лихорадочный блеск.

«Разбита жизнь… разбита! — думал я, с болью в сердце. Пропала карьера… деньги, а он, бедняк, так надеялся»!

Но не одни мы, ученики, учителя тоже смотрели на Мошкова с затаенною грустью. Им жаль было этого даровитого юношу, с таким умом и с такими способностями Он мог бы, ведь, далеко пойти, мог бы действительно сделать себе «карьеру». Инспектор раз, с разрешения педагогического совета, как оказалось потом, имел с ним такой разговор:

— А знаете ли, что бы я вам предложил, Мошков? Оставьте-ка вы теперь на время ваши занятия да отдохните, соберитесь с силами! Здоровье ваше расстроено.

— Но как же, Иван Петрович? Это, ведь, невозможно! Теперь экзамены.

— Ну, так что же? Экзамены вы всегда успеете выдержать. Да, наконец, мы знаем, как занимались вы в течение года и можем перевести вас в шестой класс совсем без экзаменов.

Но Мошков на это положительно не согласился. Он говорил, что ни в каком случае не желает быть таким исключением из общего правила и будет держать наравне с прочими. Инспектор вздохнул только, но не настаивал.

Ну, а сам-то Мошков. Был ли уверен он в существовании в нем этого проклятого недуга? Думал ли он о том, что стоит чуть не краю гроба? И да, и нет. Порою казалось нам, что он знает, что его песня спета: он становился грустным, задумчивым.

Он не заглядывал тогда даже в книги, точно они становились ему вдруг противными. Но чудная память и тут вывозила его. Мошков, едва-едва взглянувши на страницы учебника, всегда знал урок лучше иных зубрил. Но вот эта пора апатии проходила; Мошков с новым жаром брался за книги, и блестящие успехи его удивляли учителей.

Вернее всего, что он, как и все чахоточные, знал, что болен, но твердо, упорно верил в выздоровление. Он никогда и никому не говорил о своей болезни; никогда ни на что не жаловался и, само собой разумеется, мы все тоже молчали.

Но вот день экзамена наступил, и, к величайшему моему удивлению, я не только не «провалился», но получил 4. Объяснялось это тем, впрочем, что я вынул очень легкий билет, который я действительно хорошо знал. Мошков получил 5… Затем был экзамен из русской словесности, закона Божия, геометрии, физики и т. д., и я, к немалому утешению моего отца, везде получал по «тройке», а иной раз и по «четверке». Счастье у меня, действительно, было дурацкое, и все пятиклассники дивились ему ничуть не меньше меня. Я перешел в шестой класс. Мошков перешел тоже и, само собой разумеется, с похвальным листом и книгами. Он получил по 5 решительно из всех «предметов». Андерсон остался на третий (и, увы, теперь уж на последний) год.

Дьяченко с Матвеевым кое-как, по их выражению, «переползли» и сами не могли надивиться такому странному, невероятному обстоятельству!.. Матвеев так лихо кутнул на радостях, что, пьяный, чуть-чуть не сшиб с ног директора, очень благообразного и добродушного старичка, но это дело «замяли», и он просидел только неделю в карцере.

— А думал, что исключат! — говорил он. — И точно, какая, ведь, пакость вышла!.. Дернула же меня нелегкая…

— Однако, недельку целую… Оно не того… брат!.. — говорил я, насмешливо поглядывая на его полное, круглое, заросшее давно уж небритой бородою лицо.

— Так что ж? Прекрасно я там провел время!..

— Ну-у?

— Побей меня Бог, прекрасно!.. Кормили, во-первых, великолепнейшим образом!.. Кормили, знаешь, с директорского стола, три и четыре блюда, с пирожным и даже кофе… Вот только ни водки, ни вина и понюхать не дали, — а то чего лучше!.. Поешь и растянешься на диване с книжкой!.. Семенов мне во́ какую кипу их притащил!.. И все, брат, такие романы, что называется, с ног сшибательные!..

В десятых числах июня вся наша семья: отец, мать, я, два брата и маленькая сестра, переезжали обыкновенно на дачу. Собрались и на этот раз. И вот мне пришла в голову недурная мысль: предложить Мошкову пожить вместе с нами на чистом воздухе. Но он отказался.

— Но почему же, Федор Васильевич? — удивился я и даже обиделся. — Уж не считаете ли вы это за одолжение?

— Нет… какое там одолжение!.. Ведь, после того, как вы дали нам пятьдесят рублей, я не считаюсь с вами!.. Мы, ведь, свои люди, друзья теперь!.. — И он крепко пожал мне руку.

Мошков не знал да так и не узнал никогда, откуда были эти 50 рублей…

— У меня урок просто нашелся на лето, А. П.

— Я посмотрел на него чуть не с ужасом. Человек одной ногой в гробу стоит, а еще думает об уроках!..

— Бога вы не боитесь, Федор Васильевич! — говорил я. — Плюньте вы на эти уроки и отдохните лучше!.. Ведь, вы устали, голубчик, устали страшно!.. Да и больны…

Мошков немного задумался. И вдруг он поднял голову и как-то пытливо взглянул на меня.

— А вы думаете, что я очень болен, А. П.? — спросил он, — что у меня, чахотка?..

— Ну, вот!.. Какая там, к черту, чахотка! — смутился я. — А все-таки, вы не совсем здоровы да и устали страшно…

— Гм… да… по временам, я, точно, чувствую какую-то этакую усталость… особенно по утрам… Проснешься — в поту весь… Грудь тоже побаливает… Но это все ничего — пройдет!..

— Конечно, пройдет, но все-таки… — Какой же у вас урок? Где?..

— Не здесь, А. П., а в отъезд. В — скую губернию…

— Но это, ведь, далеко очень!

— Пустяки!.. Сообщение по железной дороге, — в три дня… Мне, разумеется, и деньги на проезд вышлют… К помещику одному, в усадьбу, с тремя детьми заниматься… И условия вполне подходящие… прекрасные даже: проезд туда и обратно на их счет; ну, стол, разумеется, и десять рублей в месяц…

— И это вы называете прекрасными условиями?..

— А чего же лучше?.. Дела у нас теперь очень плохи, и эти лишние 30 рублей куда как нужны, А. П.! Да вы за меня очень-то не беспокойтесь! Ведь, я не все же там с ребятишками заниматься буду, найдется время и отдохнуть… И погулять тоже можно, подышать чистым воздухом… Ведь, там деревня… простор!..

— Когда ж вы едете?

— Да, думаю, что на той неделе… Вот только получу деньги.

Я, разумеется, только вздохнул и не стал его более отговаривать. Я хорошо знал, что Мошков все равно меня не послушается: ведь, он удивительно упрям и настойчив!.. Засела это ему какая-нибудь мысль в голову — баста!.. Хоть кол на голове теши!..

Мошков уехал. Мы тоже уехали, но только не так далеко, как он, а верст за 15 от города, в одну заречную деревеньку… И вот, я вполне отдался деревенским удовольствиям и развлечениям… С энергией, достойною лучшей участи, просиживал я по пяти, по шести часов сряду на берегу озерка, не спуская нетерпеливых глаз с поплавков… А то, по целым уж дням, порой чуть не с утра и до ночи, бродил по болоту или в лесу, стреляя по уткам, но более, впрочем, по кочкам или по пням.

Иной раз катался на лодке по озеру, с парусом или на веслах… Но, впрочем, летние удовольствия не мешали мне каждый день вспоминать о Мошкове и думать: что-то он там бедняга? Как чувствует себя? Не завалили ли его слишком работой. (Слыхал я тоже об этих помещиках: из репетитора они не прочь не только гувернера, а даже и домашнего секретаря сделать). И, наконец, жив ли он?

И вот, вдруг я получил письмо от Мошкова. Оно и теперь хранится еще у меня, в числе дорогих воспоминаний, в шкафчике с прочими письмами, писанное его красивым, правда, но не совсем твердым, дрожащим почерком… И надо ли говорить, с какими чувствами принялся я за это письмо!.. Вот что писал Мошков:

«Дорогой А. П.!

Не буду описывать вам своего путешествия по -ской железной дороге; не буду описывать разных впечатлений: их, собственно говоря, почти никаких не было. Дорогой я много спал и чувствовал себя не совсем здоровым… Но вот, я приехал. Усадьба большая, барская… Великолепный фруктовый сад… Ну, разумеется, разные хозяйственные постройки: амбары, хлева, конюшни… Хозяйство, вообще, ведется en grand, так как патрон мой, Павел Сергеевич Чубуков, человек предприимчивый, хороший, дельный хозяин и обладает большими средствами. Воздух прекрасный, не то, что у нас в А.! Я первые дни чувствовал себя превосходно. Как-то легче, свободней дышалось груди; потом этой слабости не было, ну, а теперь что же? спросите, может быть, вы. Теперь вам хуже разве? Позвольте, голубчик мой, я все буду рассказывать по порядку… Но только простите, ради Христа… я буду, по возможности, краток… Некогда, совсем некогда!..

«Ну, да, так и знал! — подумал я с горечью. — Его уж заваливают работой!..»

«Не буду описывать вам моих «хозяев», учеников, их характеров и наклонностей… Скажу только, что первые (т.е. «хозяева») люди ничего себе — жить с ними можно, конечно, только не годы целые и не десятки лет: тогда они донельзя надоели бы, наскучили!.. Дети ленивы, конечно, и шалуны… Не буду описывать ни занятий, ни того, как я вообще провожу время…

Скажу только, что занимаемся мы от 9 до 12 ежедневно и потом вечером от 7 до 8...»

«Четыре часа, однако!» — подумал я.

«Обедаем в половине первого, поздно — в час. Затем, я свободен. Гуляю, пишу кое-что (род дневника, знаете) и читаю... Но дальше, дальше!.. Это все пустяки, а потому в сторону!.. Я расскажу вам об одной встрече... Ну, думал ли я, мог ли думать, отправляясь на урок в — скую губернию, что в доме моего хозяина, добродушного и хлебосольного русака, встречусь я... с кем вы думаете, А. П.? Угадайте! Не угадаете ни за что! С Бирюковым!.. Вы знаете... с тем Бирюковым...

Я отложил на минуту письмо: я почувствовал то странное ощущение в головной коже (точно волосы шевелятся), какое замечают порой при чтении чего-нибудь очень уж интересного, «захватывающего», затем продолжал:

«Случилось это через неделю по моем приезде. Раз как-то к обеденному столу собралось человек десять гостей (Павел Сергеевич праздновал день рождения одного из своих наследников). Это были все больше помещики, но между ними как-то попал худой, довольно грязный старик, в сюртуке, с продранными локтями... И вдруг Павел Сергеич обратился к этому старику с каким-то вопросом и назвал его г. Бирюковым... Я вздрогнул... Не он ли? — мелькнуло у меня в голове... Но, может быть, и не он: мало ли Бирюковых разных!.. Однако, я долго и пристально вглядывался в его лицо... Это лицо человека много пожившего, кутилы (он за столом то и дело осушал рюмки). И я вдруг почему-то решил, что это он, именно он... тот самый!.. И я не ошибся, А. П. Старик действительно был тот Бирюков, опозоривший честное имя моего отца и сделавший его нищим и... пьяницей!..

«Я так и думал, что вы мне предложите вопрос: ну, что же, Мошков? Что сделали вы с ним?.. Что говорили?.. Что сделал? Да, я просто простил его, А. П., простил искренно, от души. Бог с ним!.. Я чуть-чуть не расплакался, когда он рассказал мне свою историю. Она не менее грустна, чем и наша!.. Но не буду распространяться. Он струсил тогда, дрожал за свою шкуру и вполне сознавал себя подлецом. Его совесть мучила. Он уехал. Думал, на время только, но завертелся и закутил. Его жена отправилась с детьми в деревню к матери, как я вам говорил тогда, и вскоре умерла там. Один из сыновей (старший, ему семнадцатый год теперь) сделался отъявленным негодяем. И вот, в этом Бирюков увидел наказание Божие или «перст карающей Немезиды», как он выразился и закутил, закутил... Он плакал, А. П., горько плакал, когда узнал, кто я и что сталось с моим отцом, раскаивался; ловил мои руки и все хотел их поцеловать. Он клялся, божился, что не знает с тех пор покоя и только в одном вине находит забвение, да и то минутное. Нет, он человек несчастный, достойный всякого сострадания... И я простил его... не мог не простить!.. опять повторяю: Бог с ним! Не надо его признания, пусть будет все так, как и раньше было... Да вот как, А. П.! Не знаю, одобрите ли вы мой поступок и не найдете ли в нем каких-нибудь противоречий? Ну, а пока — довольно! На днях напишу еще. Прощайте, голубчик мой, жму вашу руку.

Всегда ваш Федор Мошков».

Я молча сложил письмо, сунул его обратно в конверт и задумался.

IX.

Каникулы пролетели быстро, почти незаметно. Не успел я оглянуться, как и август уж стал подходить к концу. Еще неделька-другая, и придется идти в гимназию. От Мошкова я получил еще одно письмо в конце июля. Он писал, что погода стоит у них превосходная, что он много

гуляет и чувствует себя вообще хорошо. «Вот только слабость эта, истома одолевают меня, — замечал он в скобках. — Весьма неприятное состояние! Да грудь все чаще и чаще побаливает...» — Одним словом, выходило что-то в роде того, что он был бы совсем здоров, если бы не был болен. Затем Мошков говорил, что скучает и жаловался на отца. «Написал мне только одно письмо, да и то какое-то уж очень неопределенное: здоров, дескать, чего и тебе желаю, и ничего больше. Старик меня беспокоит ужасно! Ради Христа, А. П., сходите к нему и узнайте, как он живет: здоров ли и не больше ли пьет, чем прежде? Только не больше ли, сохрани Бог! Здоровы ли дети? Страшно мне жаль их, А. П.! Болит у меня за них, ноет сердце!.. Мне хорошо здесь, — я в раю точно! Кормят прекрасно; пользуюсь чистым, здоровым воздухом... А они, бедненькие!.. Наверно, полуголодные, они задыхаются в грязной и душной комнате... Скверно, А. П., очень скверно!.. Здесь бы они поправились, Пополнели! Так будьте добры, голубчик, узнайте и сообщите мне все подробно!..»

Узнать-то, положим, узнал я, но только ничего не сообщил Мошкову. Зачем терзать его без того уж больное и исстрадавшееся сердце!.. Положение старика опять было из рук вон скверное! Я застал его без копейки денег и... пьяного (на что он пил только!). Хозяйка требовала за квартиру денег, и грозила вышвырнуть их всех за дверь, если завтра же не отдадут ей пяти рублей... Я заткнул рот этой старой, седой мегере, заплатив долг. Ребятишек застал я еще более похудевшими и побледневшими. Они, как напуганные зверьки, робко поглядывали на меня, и я шибко подозревал, что они голодны, очень голодны... Я обратился к отцу, к товарищам. Собрали опять сорок рублей, но я не отдал их старику, а решил тратить сам для семьи, по мере надобности, а что останется передать Мошкову, когда тот вернется (вернуться он обещал в сентябре, быть может, к началу классов). На первый раз траты были хоть небольшие, но вопиющей необходимости. У Маши не было башмаков. У Оли оказались в наличности только две рубашонки, да и то одна из них — старенькая, заплатанная. У Пети тоже. Но я не признавал себя компетентным в таких покупках, а потому поручил их матери, и она закупила некоторый запас обуви и белья. Понадобилось и старику Мошкову кое-что купить: у него тоже все с плеч валилось.

— И когда я расплачусь с вами, когда расплачусь, А. П.! — говорил бедняк. — Ведь, то, что вы для нас сделали... Господи! — И он отирал катившиеся из глаз слезы. — И вот, до чего дошел я! До нищеты!.. До того, что у меня нет рубашки, и мне покупают ее благодетели... А тут еще пьянство это... Погибший я человек!.. Гадко, А. П., страшно гадко! Право, если бы не ребятишки только, вбил бы я в стену хороший гвоздь...

— Что вы, Господь с вами, Василий Яковлевич!.. — ужаснулся я. — Что говорите!..

Но он только махнул рукой и вдруг уткнулся в подушку, конвульсивно вздрагивая всем телом... Старик страшно страдал, но у меня не хватило ни сил, ни уменья утешить его, успокоить...

Мошков, наконец, вернулся... Но, Боже, в каком он был состоянии!..

Помню, вот, как сейчас... Было пасмурное, холодное утро в конце сентября: на улице завывал ветер, и не то дождь моросил, не то шел легкий снежок. Вернее и то и другое вместе... Я только что было, собрался идти в гимназию, как вошла Марья и подала мне записку. Я развернул ее и узнал почерк Мошкова. Дрожащей, неверной рукою в ней было написано: «Вчера вернулся, и вернулся совсем разбитый, больной. Лежу теперь... Заверните!»

Я бросил книги и полетел на Дворянскую улицу. Меня встретил в прихожей г. Жилинский и с самой любезной улыбкой протянул мне руку:

— Здравствуйте-с!

— Здравствуйте, Петр Петрович! Ну, что… как он?..

Жилинский скорчил гримасу.

— Вчера вернулся, — говорил он. — И вернулся в таком виде, что хоть прямо в гроб!.. Ведь, говорил ему, говорил: ну, и к чему ты едешь? Какие тебе уроки? Ведь, ты больной!.. Деньги тебе нужны?.. Отец?.. Так разве я не могу дать?.. Немного, по мере сил и возможности… Помилуйте, как же можно!.. И слышать ничего не хочет!.. Характер у нас, ведь, надо же на своем поставить!.. И особые такие понятия о самостоятельности…

— Так он очень плох? — перебил я эту тираду.

— Да, очень-с… Ведь, у него чахотка, и в самом последнем градусе!.. Бейнерта вчера приглашал я (очень хороший доктор). Выстукал он его, выслушал и говорит, что вряд ли протянет неделю…

Я только закусил губы.

Мошков лежал на кровати… Но нет, это не Мошков был, а только одна тень его, намек слабый! Я ужаснулся. Он протянул мне дрожащую, исхудалую руку и слабо пожал мою.

— Узнали меня, А. П.? — улыбнулся он какой-то болезненною улыбкой. — Ну, что, как находите?..

Я едва удержался, чтоб не заплакать.

— Некрасив? да? — Сам сознаю, голубчик!.. Но что ж прикажете делать?.. Значит уж такова судьба, и против нее не пойдешь!.. Все думал… надеялся… строил планы… Баста!.. Все рухнуло и разбилось!.. — Он вдруг закашлялся; на губах его показалась кровь.

— А жить-то хотелось бы, А. П., очень хотелось бы!.. — слабым, голосом говорил он. — Ведь, мне только 17 лет… Хотелось бы жить для отца, для них…

— Но вы, ведь, поправитесь еще, Федор Васильевич, поправитесь! — Голос у меня дрогнул.

Мошков посмотрел на меня только, но ничего не сказал.

Я просидел у него с полчаса. Он уж не в силах был говорить много; часто впадал в какое-то забытье и слегка бредил.

— Пегенький жеребеночек… — говорил он, — на тонких таких, тонких ножках…

— Что? — спросил я.

Он слегка вздрогнул, очнулся.

— Я разве сказал что-нибудь? Ах, да… жеребеночек… пегенький… Это мне, знаете, почему-то вдруг вспомнился жеребеночек. При мне он родился там… у Павла Сергеича… Хорошей такой породы… забыл название… Отца, А. П., позовите… детей… хотел бы видеть… поговорить…

Мошков опять замолчал и забылся. Я потихоньку вышел.

Он умер через два дня, и Петр Петрович устроил ему очень приличные похороны. Все было, как следует: и гроб, и похоронная колесница, и факельщики. За колесницей следовали: совсем

убитый горем старик Мошков (на этот раз совершенно трезвый) с плачущими детьми.

Затем вся гимназия в полном составе: директор и инспектор с учителями; ученики, от первого и до седьмого класса включительно. День был холодный, ветряный; моросил дождик. Но вот, наконец, мы добрались до кладбища. Отпевал наш законоучитель, о. Стефан. Гроб в могилу опустили и завалили его мокрой, сырой землей...

— И вот, умер «поборник правды и истины», умер во цвете лет, — немного по-книжному выразился Матвеев, отирая глаза платком.

А ветер уныло гудел и завывал на кладбище; тучи все больше и больше сгущались на небе, и из них, как из сита, сеял мелкий и частый дождик...

[1] Ичиги — род сапог.

[2] Шайтан — черт.

[3] Тарасун — род водки, перегоняемой бурятами из кислого молока.

[4] Арса — остаток от перегонки тарасуна.

[5] Подснежная вода в ямине по дороге. *В. И. Дал.*